

Юз
Алешковский

Собрание
сочинений
в шести
томах

Т.3



Юз Алешковский

**Собрание сочинений
в шести томах. Том 3**

«Издательские решения»

Алешковский Ю.

Собрание сочинений в шести томах. Том 3 /
Ю. Алешковский — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-838048-8

В лице Юза Алешковского русская литературная традиция остается верной себе и отстаивает прежние ценности с той же страстью, с тем же воистину религиозным пафосом, что и во времена Достоевского и Толстого. «И тогда я начал носить повязку на глазах, чтобы оскверненные слова моего великого и могучего языка не кололи мне глаза, чтобы они не оскорбляли моего зрения и не плевали мне в сердце и в душу». Присцилла Майер. Профессор русского языка и литературы Уэслианского университета. США, Коннектикут.

ISBN 978-5-44-838048-8

© Алешковский Ю.
© Издательские решения

Содержание

Юзу Алешковскому от автора	7
Блошиное танго	8
От издателя	9
«Был день осенний, и листья грустно опадали...»	13
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Собрание сочинений в шести томах

Том 3

Юз Алешковский

Дизайнер обложки Александр Дунаенко

© Юз Алешковский, 2017

© Александр Дунаенко, дизайн обложки, 2017

ISBN 978-5-4483-8048-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Аннотация

Мне жаль, что нынешний Юз-прозаик, даже – представьте себе, романист – романист, поставим так ударение, – как-то заслонил его раннюю лирику, его старые песни. В тех первых песнях – я их все-таки больше всего люблю, может быть, потому, что иные из них рождались у меня на глазах, – что он делал в тех песнях? Он в них послал весь этот наш советский порядок на то самое. Но сделал это не как хулиган, а как поэт, у которого песни стали фольклором и потеряли автора. В позапрошлом веке было такое – «Среди долины ровныя...», «Не слышно шуму городского...», «Степь да степь кругом...». Тогда – «Степь да степь...», в наше время – «Товарищ Сталин, вы большой ученый». Новое время – новые песни. Пошли приписывать Высоцкому или Галичу, а то кому-то еще, но ведь это до Высоцкого и Галича, в 50-е еще годы. Он в этом вдруг тогда зазвучавшем звуке неслыханно свободного творчества – дописьменного, как назвал его Битов, – был тогда первый (или один из самых первых). «Интеллигенция поет блатные песни». Блатные? Не без того – но моя любимая даже не знаменитый «Окурочек», а «Личное свидание», а это народная лирика. «Обоев синий цвет изрядно вылинял, в двери железной кругленький глазок, в углу портрет товарища Калинина, молчит, как в нашей хате образок...

Дежурные в глазок бросают шуточки, кричат ЗК тоскливо за окном: – Отдай, Степан, супругу на минуточку, на всех ее пожиже разведем...»

Лирозэпос народной жизни. «Садись, жена, в зелененький вагон...»

В те 60-е бывало так, что за одним столом исполняли свои песни Юз Алешковский (не под гитару, а под такт, отбиваемый по столу ладонями) и Николай Рубцов. И после «Товарища Сталина» и «Советской пасхальной» звучали рубцовские «Стукнул по карману – не звенит...», «Потонула во мгле отдаленная пристань...» (Я в ту ночь позабыл все хорошие вести, все призывы и звоны из кремлевских ворот, я в ту ночь полюбил все тюремные песни, все запретные мысли, весь гонимый народ... – впрочем, это дописьменное нельзя прописывать текстом вне музыкального звука). Аудиторию же составляли Владимир Соколов, Вадим Кожинов, Лена Ермилова, Ирина Бочарова, Ирина Никифорова, Андрей Битов, Герман Плисецкий, Анатолий Передреев, Станислав Куняев, Владимир Королев, Георгий Гачев, Серго Ломинадзе... Попробуем представить уже лет 15 спустя эту компанию за одним столом...

Сергей Бочаров

Юзу Алешковскому
от автора.

Коньком нам платят
за строку,
Но не радует в этом!
В этом больше!
Целый мир -
бутылка коньяку,
Только звезда нечестно
повыше!
Потому за дружбу
наших душ
Я принёс сегодня **С**
не горилку, -
Вот стихи. Когда уеду в отпуск,
Не поспать над ними
попылюсь,
Проминая пьяного курилку?
30/XI-68г. П. П. П. П.
г. Москва

Юзу Алешковскому от автора

Коньяком нам платят за строку
Но не радость в этом!
В этом боль же!
Целый мир – бутылка коньяку,
Только звезд наклеено побольше!
Потому за дружбу наших душ
Я принес сегодня не горилку, —
Вот стихи. Когда уеду в глушь,
Не поспать над ними почему ж,
Поминая пьяного курилку?..

*Н. Рубцов 30/XI – 68 г.
г. Москва*

Блошиное танго

Повесть из книги «Пупоприпупо»
(Пункт приёма пустой посуды)

*Памяти благородной и добрейшей
машинистки Тани Павловой,
удавившейся недавно в Москве
от тоски одиночества
и окончательной безысходности*

От издателя

Человека этого я не раз встречал в различных пустопосудных и, естественно, винноводочных очередях.

Не сказал бы, что личность его могла привлечь ваше внимание какими-либо необыкновенными чертами или странностями поведения. Тихий обыватель, каких много. Отнести его можно к породе людей смиренно спившихся, находящихся горчайшее удовольствие в своем продолжающемся падении на дно жизни.

Только теперь, задним – как это всегда бывает – числом, вспоминаю я, что лицо Сергея Ивановича – лицо, повторяю, стоически смиренное – напоминало вдруг морду умной, чуткой, тонко сопоставляющей учуянное, но прижившейся к своей душеразрывающей жалкости собаки.

Есть среди представителей собачьей породы – как среди бездомных, никем не пригретых бродячих псов, так и среди вполне обеспеченных и обожаемых счастливцев – эдакие непризнанные гении. Дар псов бездомных забит самой жизнью: поисками объедков, спасительной – в жару – тени, согревающего – в холодрыгу – прибежища. Им и в голову не придет попытаться как-либо внушить случайному человеку, что чутье их может творить чудеса прикладного для человеческой жизни характера, что нынче оказались они волею судьбы в крайне отчаянном положении, что готовы за миску зачуханной шелюмки и гарантированную защиту от живодеров продемонстрировать свое ошеломительное искусство **находить, различать и учуивать**. И происходит это потому, что равнодушие толпы людей и неотступное преследование вездесущими стихиями забивают собачье достоинство, то есть личный природный дар. Забивают унынием оставленности и тоской потерянности. Вполне возможно, что большинство людей равнодушны к судьбе бездомных псов по причине равнодушного отношения к самим себе, происходящего, в свою очередь, тоже от забитого в них чувства достоинства.

С некоторыми вполне обеспеченными собаками дело обстоит несколько иначе, потому что дар их начисто заглушается не отчаянной и жалкой борьбой за ежедневное существование, а как раз нахождением на полном довольствии в доме хозяев, равнодушных к судьбе собственного, забитого жизнью дара и относящихся к искренне любимым домашним животным как к самим себе. То есть полагая, что единственной целью жизни является пропитание, нахождение под своей крышей, благодарное приятие и ответное возвращение ласки ближним.

И если вид пса, явно одаренного от рождения, но нынче опустившегося, бездомного и голодного, пробуждает в сердце вашем возвышенную тоску и жалость, в уме – мысль о трагичности бытия, так или иначе распространенной на все живое, а может, даже на нечувствительную часть Творения, то вид псов, развращенных собственным и хозяйским сытым самодовольством, поневоле заставляет вас ощутить, – каким бы парадоксальным ни казалось это ощущение, – что трагическое – благородно, а отстраненность от него временами не только страшна, но и отвратительна.

Тут вполне можно было бы пофилософствовать о некоторых спецслужбах, на которых человек использует способных собак, разом извращая и их дар, и собственную свою природу, и облик нашей цивилизации. Но я, как издатель, всего лишь предвещающий печальную исповедь случайного своего знакомого, порядком отвлекся от него самого.

Так вот – задним числом вспоминая – лицо Сергея Ивановича неведомо почему напоминало вдруг выражение учуявшей что-то преотвратное собаки. Он даже отступал из очереди в сторонку, словно пес, которому злые дети или садисты-взрослые ради злодейской шуточки подсунули под нос кость, вымазанную мазутом. Не знаю уж, фокусы ли это обдумыв-

вания явления задним числом, но казалось мне, что уши Сергея Ивановича – тогда я не знал еще ни имени его, ни отчества – настороженно от чего-то отмахиваются, на лбу собираются морщины, а брови приходят в благородно-нервное движение от работы какой-то неведомой мысли – как это случается наблюдать на мордах неглупых собак, выведенных вдруг из блаженной и привычной дремы каким-либо обстоятельством внешней жизни или внутреннего раздумия.

Однажды мне даже показалось, что он, раздраженный живоглотностью приемщицы, садистично придиравшейся к каждому бутылочному горлышку в поисках «нестандартной щербатости», просто-таки зарычал и залаял, негодуя, срывающимся голосом.

Затем бросил место в очереди, вежливо попросив меня присмотреть за его двумя авоськами. Возвратился с маленьким чемоданом в руках и двумя шлангами, накинутыми на шею вроде шарфа. Втайне от приемщицы сказал всем присутствующим, что сейчас он ей – гниде – заделает «козу». Попросил собрать все не принятые из-за якобы щербатинки в горлах бутылки и вынести их на улицу. На улице, за ящиками, зажег газовую горелочку – баллон с газом находился в его чемодане – и с необычайной скоростью оплавил действительно щербатые – следствие нетерпеливо вскрытой бутылки с заветной влагой – горлышки. Он также привел в порядок бутылки, зловердно подозревавшиеся приемщицей в «нестандартной щербатости».

Таким образом мы сдали ей добрую сотню валявшихся в стороне бутылок и устроили в заброшенном яблонево саду коллективную пьянку.

Не могу не сказать тут о том, с какой мстительной радостью и восторгом всех душевных сил наблюдали стоящие в очереди за мастерским облапошиванием приемщицы. Можно было подумать, что наконец-то, после долгих лет безнадежного ожидания, строгая, но справедливая судьба милостиво удовлетворила всенародную страсть протеста не против мизерного своеволия какой-то жалкой замухрятины-приемщицы, а против самого несменяемого, зажавшегося, тупого и неприступного в своей тупости правительства. Что говорить, приятно безнаказанно врезать всеильной власти по беспредельно возгордившейся сопатке, даже если подобная врезка – что жужжание назойливого комара возле уха глухого инвалида!...

Вот во время той самой пьянки в яблонево саду Сергей Иванович некоторое время откровенно приглядывался ко мне, словно обнюхивал, затем отвел в сторонку и спросил, правда ли, что я – «писатель с профессиональным уклоном»? Я ответил, что пописываю временами, но чаще, каким-то образом, чем печатаюсь, сдаю посуду и сижу на больничном Литфонда. «Не уходите. Я сейчас вернусь», – сказал он. Через полчаса возвратился и вручил мне пару толстых общих тетрадей. «Доверяю вам безоглядно, но с уверенностью. Через месяц делайте с этой пробой пера все, что вздумаете. Если можете, передайте **туда**. Там много разной хреновины печатают...» «Извините, – говорю, – но вы-то... то есть – с вами-то что – и так далее?» «Ни то ни другое. **Закрывают**. Прочитаете вот это... поймете. Мы с женой ждем **закрытия** со дня на день... Поддадим, что ли, в гуще всенародной жизни и простимся до встречи, как говорится, в братской могиле... поддадим с ужасом и весельем!» «Не опрометчиво ли вы поступаете? – спросил я. – Найти вас после публикации рукописи **там** будет проще простого. Сами понимаете...» Он вежливо, но не без досады остановил мои здравые разглагольствования: «Неужели вы думаете, что листья грустно не опадали?... Опадали, смею вас заверить, а последних астр печаль хрустальная жива... Не удивляйтесь странному моему бесстрашию. Я слишком **им** нужен. Уничтожить меня после выхода моих откровенностей покажется делом весьма непрактичным. Кроме всего прочего, **такая** жизнь потеряла для меня с некоторых пор всякую ценность, но шанс на достойную смерть я еще, кажется, имею. Вот тогда **они** закроют меня по-настоящему... Жаль, конечно... очень жаль, что **закрывают**... До конца моих дней опаивал бы я на пользу людям щербатые горлышки

их пустых сосудов... стоял бы себе, как все вы стоите, в безмолвной очереди к естественной кончине и даже перестал бы вскоре удивляться тому, как **они** превращают яростную прелесть жизни в унижайшее **блошиное танго...** поддадим, повторяю, с ужасом и весельем...»

Поддать как следует мы, правда, не успели, потому что в силу «новых веяний» и в соответствии с мерами правительства по борьбе с алкоголизмом развеяны были враждебными вихрями милиции и дружинников. Сергей Иванович, можно сказать, на плечах вынес меня «из боя» – я мерзко окосел – вместе со своими общими тетрадами. У моего дома мы простились и больше никогда не встречались.

На следующее утро, даже не опохмелившись, я взялся за рукопись Сергея Ивановича. Она произвела на меня сильное и странное впечатление. Странное, потому что некоторые моменты искреннейшего повествования показались мне слишком уж неправдоподобными. Все восставало во мне против ряда вызывающих гротесков. Обидно было, что художественный дар Автора не побрезговал снизойти до того, что на языке обывателя и власти вполне может быть названо клеветой. Даже мне – спившемуся литератору, не питавшему никаких иллюзий насчет бескрайне подлой природы советской власти, – трудно было поверить, что в сверхсекретном НИИ ставятся бесчеловечные опыты на военнопленных афганцах. Захотелось – захотелось страстно – разыскать Автора и возопить о предоставлении доказательств фактов вивисекции.

Искусство, хотелось мне сказать ему по-корешам, искусством, но ведь и совесть надо знать, Сергей Иваныч, даже при обличении такого невиданного в истории вселенского, адского монстра, каким несомненно является наша **сонька**. Мало ли что имеется у нее в потенции чудовищного, чему не дай Бог стать когда-либо беззастенчиво явленным?... Стоит ли вызывать даже малую часть всего этого к жизни пусть ясновидящим воображением и внедрять, так сказать, идею, чье действие напоминает чем-то механизм действия лукавого вируса, в доверчивые «клетки» реальности? Ведь **сонька** порождена к жизни именно **идеями** и исключительно ими вскормлена. Сожрав **идеи** и переварив их, питается она в настоящее время многообразными экскрементами всего этого своего «идеального», внушив каким-то мистическим образом заграничным образованным и темным людям, что дерьмо ее – свежий, с грядочки, огурчик-помидорчик, а мутно-кровавая моча – чистейшая свежая вода... Мало ли чего, Сергей Иванович, можем мы подналожить в **сонькин** огород, потревожив сонм ветхих чучел, особенно от ужаса, ненависти и с похмелья?... Может, поостережемся подкармливать умонепостигаемого монстра всем сатирическим и жутковато-фантастическим, не только не удручающим его, но, наоборот, подвигающим к педантичному воспроизведению – на ужас всем нам – нами же накарканного? Не следует ли нам быть по отношению к **соньке** абсолютными реалистами, остерегающимися даже клеветы на нее как низшей формы воображения? Ведь ясно же с некоторых пор и сознанию, и душе, что ничего нет для **соньки** ужасней и уничтожительней, чем **реализм действительной жизни**, как говаривал Достоевский. И не в том ли сущность художественной задачи истинного реалиста, Сергей Иваныч, чтобы не в **жизни** внушать наличествование ее на Земле, в небесах и на море – она в этом нисколько не нуждается, – но чтобы откровенно внушать всему омерзительному фантомному – даже не внушать, но предоставить убедиться, – что в бытийственном смысле **его нет? Нет – и точка!**

И не чудесно ли для нас – почти обезнадеженных существ – подобное отсечение всего мертвенного идохлого, но вообразившего себя вечно живым, от гнущегося и шумящего под всеми звездными вихрями **древа жизни**?... «Выпить... выпить... Необходимо выпить...» – подумалось тогда мне...

Не знаю, прав ли я был в том похмельном мысленном разговоре с Сергеем Ивановичем. Не знаю также – существует ли он перед искренней и совестью рукописью, прочи-

танной мною, и все ли в ней соответствует судьбе Автора. Но поступил я с нею согласно его распоряжениям. Вслед за этим и сам оказался на Западе.

Об остальном – судить Читателю.

«Был день осенний, и листья грустно опадали...»

Был день осенний, и листья грустно опадали...

Начну очерк моей жизни под вышеуказанным названием прямо с немислимого и феноменального моего нюха.

С нюхом этим я родился и из-за него не раз бывал низринут ниже уровня уразумения. Нюх у меня действительно собачий. А в действенном сочетании с человеческим умом такой собачий нюх – чистая морока, проказа и источник лишнего беспокойства. Иной раз приходилось забивать в обе ноздри парафиновые пробки, чтобы в гостях, скажем, или в театре, я уж не говорю о партсобраниях, избавить себя от острого реагента на всякопахнущую природу отдельных человек и общей толпы людей. Не могу тут не отвлечься и не сказать, чтобы больше уж к этому моменту не возвращаться, что каждый из нас ежеминутно представляет собой своеобразный букет вполне приемлемых и вполне органических запахов, а также абсолютно невыразимых никаким поэтическим словом ужасных, гнусных, подкожных – адских, одним словом, запашков. Если уж душу нашу воротит всякий раз от разного рода мелких людских злодейств, то представляете, **каково** унюхать запашок злодейства? **Каково** почуять смущенную ноздрею помышление злодейства? **Каково** воспитанно держаться в присутствии людей, извортливо лгущих, внутренне проказничающих, глумящихся, завидующих, стервенеющих от бессильной страсти мщения, затаивших в душе злобу, подлянку, страсть к доносу, имеющих на совести черт знает что, причем в таком смердящем виде и в таком количестве, что если бы была у людей возможность прообонять, так сказать, все, к чему память наша привыкает прижизненно равнодушеествовать, то люди, поверьте мне, не вынесли бы собственных миазмов. Не вынесли бы не из-за непримиримой со всеми смертными грехами и с отталкивающими безобразиями совестливости, а как раз из-за счастливой невозможности слабого, вернее, ослабевшего человеческого обоняния мужественно перешагнуть порог чувствительности и при этом не дать потрясенному мозгу обезуметь от невыносимого омерзения.

Можете считать меня безумцем, замечательно и во всех деталях разработавшим свою параноическую идею. Не привыкать. Я утверждаю, суммируя свой опыт и наблюдения, что каждый грех – помышленный и совершенный – попахивает по-своему. У греха помышленного запашок, разумеется, менее острый и похабен, чем у совершенного, но, по понятным причинам, более стоек. Не могу также не сказать пару добрых слов о вечно обнадеживающем моментике существенного ослабления истинно неприличной вони совершенного греха в человеке раскаивающемся. Публичное же покаяние – с русским нашенским надрывчиком и обильной слезоточивостью – зачастую, хотя, к сожалению, временно, замечательно дезодорирует просмер-девшую личность...

А знаете ли вы, какой именно тип человека источает из всех пор своего существа самую дурнопереносимую и лукавую вонищу? Тип человека, уверенного в собственной непогрешимости, несмотря на вопиющие об обратном изнутри и извне факты жизни...

Знаете ли вы также, как бессознательно порою, как страстно, как тоскливо, но с умопомрачительным долготерпением мечтают людские сообщества – от мелкосемейственных образований до авторитетных и внушительных наций – об очистительном историческом сквознячке или о решительном и грозном движении трепетных воскрылий ноздрей на величественной и озорной сопатке **ветра перемен?**

Мечты, к сожалению, чаще всего остаются мечтами, механически переходящими в ряд пенсионных грез. Толпы людей, то есть мы с вами, настолько привыкают к праздным

грезам о **переменах** – хотя бы о минимальном улучшении правил приема пустой посуды от населения, – что перестают замечать смрадную вонищу, сгустившуюся донельзя в спертой атмосфере нашей нелепой жизни...

Одним словом, когда мне ужасно надоедает мельтешение в башке противоречивых мыслей и заведомо оскопленных идеечек, я начинаю мыслить носом. При этом, подобно псу с весьма средним интеллектуальным уровнем, логику всего происходящего вокруг и всего воспринимаемого мною я не обмозговываю с умным видом, ни черта, заметьте, не понимая, но **чую**. Разумеется, со стороны кажется, что я реагирую на что-либо и на кого-либо или как-либо поступаю, соответствуя многочисленным сигналам мозга.

Кстати, мозг мой сослуживцы и ближние, включая супругу, считали и считают недоделанным. Конечно, они употребляли, беседуя о странных качествах моего мозга, другое скверное словцо. Запахов их не выношу. Не удивляйтесь, пожалуйста, отсутствию этих слов в моей речи. Достаточно того, что от смердины сквернословия некуда лично мне деться ни дома, ни на службе, ни в транспорте. Не могу не заметить, что вкупе с самым популярным в нашем народе глаголом источают словечки эти омертвляющее мою душу зловоние. Сравнить его не с чем, хотя сравнения, как вы понимаете, напрашиваются сами собой. Оставим эту тему...

Так вот, я работаю, вернее работал, в одном сверхсекретном НИИ, не имея, кстати, законченного высшего образования. Для меня было бы счастьем слушать лекции в общественной уборной, что напротив ГУМа, но не в советском вузе. Не вынес пару раз миазмов блевотины, подкисшей в бородах Маркса – Энгельса. Задыхался до многократных вызовов «скорой» прямо в институт от бездушного ленинского железа, растворенного в сталинском гное. На общих собраниях и на митингах, посвященных каким-нибудь очередным «руки-прочь-от-Анджелы-Девис-Анго-лы-Лумумбы-Кубы», начинал форменно безумствовать, словно наглотавшись грязного наркотика из лжи, демагогии, цинизма и лицедейства, настоящего на наших тупости, безразличии, рабстве и загнившем достоинстве. Забывшись, посматривал на стенд газеты «Правда», стоящий у дверей парткома института, – и меня начинало выворачивать. Скажу больше – при всей невыносимости для меня лично ужасного зловония сквернословия в нем все-таки имеется нечто органическое, пусть уродующее человеческие уста, но не покушающееся на природу живого, то есть как бы даже осознающее свою плебейскую ограниченность и вечно из-за этого подзаводящее себя на площадную разнузданность. Мат, скажу я вам, изначально невиннее большевистской нашей печати, пластмассового ее грязноватого душка и пустодушной выбитости захарканной половицы-передовицы.

Вспоминаю все это к тому, что в пятьдесят шестом году был увезен прямо в дурдом с митинга, посвященного ликвидации Венгерского восстания. Спас меня от удушья, между прочим, сам докладчик, лектор горкома партии. Заметив, что я начал корчиться на своем месте, хрипеть и окончательно закатывать обезумевшие глаза, он с ходу прервал жуткую тираду о просчитавшихся венгерских контрреволюционерах... ставка на империалистические круги Запада... историю не повернуть вспять...

Прервав свою жуткую тираду, он бросился ко мне с трибуны, разложил на полу, в проходе между стульями, и без естественной брезгливости ртом своим, изрыгавшим всего полминуты назад нечто тупо-вонючее, приник спасительно к моему изнемогающему от омерзения дышать и жить рту. Вместе с дыханием из меня вырвались, словно сгустки блевотины, эти самые слова, вернее комки слов – «конррр... имперрр... венгеррр... антисс... террр... ник... гда... истор...».

Тот лектор был, конечно, не дурак. Он и вызвал не «скорую», а чумовоз. Меня проводили в дурдом. Там я не распространялся о тонких странностях моего обоняния, хотя много чего мог бы порассказать психиатрам и санитарам о запашке ихнего заведения. Если

выражаться точнее, то мог бы я порассказать о запашке отсутствия запашка. О сковывающем все твоё существо озябчике стерильного бездушия. О чем-то совершенно противоположном самой зачуханной, провинциальной, непротопленной баньке, с вьёвшейся в щели склизкого пола волосней и ошметками грязной плоти. Все отдашь за неизгоняемую уже из пределов парной, за вдаряющую в ноздрю аммиаком, прокисшим березовым листиком и чем-то невыносимым, чем-то глубоко родственным, беспомощным и жалким, но размывающим наготу нашу до легчайшей безликости, – все, повторяю, отдашь за лобызающуюся с тобой на пороге парной, словно несносный, гунявый пьянчужка, за волну истомленного жарка, за полное открытие вечно смущенных обществом, а оттого и враждебно замкнутых пор бедной нашей кожи. Это дарует сиротливому существу советского человека праздничное чувство истечения общего пота и временное избавление от социальной жизни.

...Но чумовоз... палата психушки... прогулочный психодром... Это обезнадеживает абсолютно. Этого не сравнить даже с пожизненным заключением во владимирской одиночке. Это – безжизненный предбанник ада... Там-то я и сообразил, что запашок, если позволительно называть запашком качество полной обездушенности – отсутствие запашка, есть предбанничек поганого ада...

Вел я там себя печально и тихо. Дышал исключительно ртом, чтобы не раздражать чутких рецепторов слизистой оболочки своей феноменальной сопатки запашком со знаком «минус». Редактировал стенную газету дурдома, названную мною, с согласия главврача и секретаря парткома, «НЕ ДАЙ МНЕ СОЙТИ С УМА». Слово **«Бог»** администрация распорядилась выкинуть из замечательного пушкинского вопля. Правда, слово **«Бог»** возникало таинственным образом вновь и вновь. Сестры стирали его резинкой, замазывали мелом, который загоняют в желудок перед рентгеноскопией, но оно наутро вновь появлялось в близком моей душе вопле. Наконец после одной тщательной ночной слежки оказалось, что **«Бог»** – вы себе не представляете, какой это было для меня неожиданностью, – вписывал я. И делал это в истинно лунатическом состоянии, хотя действительно не намеревался, укладываясь в койку, встать посреди ночи и придать пушкинской строке вид целостный и гармоничный. Утром в столовой именно я искренне призывал всех больных и тех, кому садистически внушалось, что они больны, не раскачивать лодку и не давать коновалам повода прикрыть наш печатный форум. Даже тогда, когда в присутствии всего врачебного коллектива и в полной темноте мне показали захватывающе интересные кинокадры, снятые скрытой камерой, я отказывался верить, что странный тип – серолицый призрак в нелепых кальсонах, крадущийся мимо дрыхнувших пьяных санитаров по коридору, вынимающий затем из хитроумной заначки похищенный у лечащего врача чернильный карандаш, встающий на цыпочки, подрисовывающий, высунув язык, над заглавием газеты слово **«Бог»** и сигающий после всего этого в палату с осмысленно злорадной улыбкой на удовлетворенной физиономии, – есть мое второе «Я». Тем более после того, как меня начали привязывать на ночь к койке ремнями, **«Бог»** продолжал таинственно появляться в середине полюбившейся всем дурдомовцам строки Пушкина. После этого газету запретили выпускать, но регулярно вывешивали на стене «Правду», пока кто-то не перечеркнул кровью, неизвестно откуда добытой, первую полосу и не замалевал ее из сердца идущей фразой: **вы обросли ложью...**

При выписке из дурдома я получил первую группу и был объявлен невменяемым, что расценил как чудесное преимущество над всеми гражданами, живущими на каждом шагу под прессом «Морального кодекса строителя коммунизма» и УПК РСФСР.

С институтом было, конечно, покончено раз и навсегда. Я получал ничтожную пенсию и не переставая утешал сам себя и убитую горем мать тем, что являюсь счастливым и относительно свободным человеком в зоне нашей страны, да к тому же не выходящим на общие работы.

Дома я занимался тончайшими биологическими экспериментами. Сам выдул всю стеклянную аппаратуру. Выпросил у приятелей, уже работавших в НИИ, разные реактивы, датчики, счетчики, самописцы и прочие приборы. Они же подарили мне отличные газовые горелки и всевозможный инструмент. Кроме опытов с растениями и бытовыми паразитами – тараканами, клопами и блохами, – я занимался чистой халтурой. Я выплавлял из цветного стекла и выдувал сикающих водичкой, а то и одеколоном чертиков, буратино, обезьянок и поросят. Сбывал эту продукцию в вагонах электричек. Меня арестовывали и отпускали как стебанутого. Но самым большим успехом у граждан в электричках пользовались, как это ни странно, замурованные мною в искусно расплавленном стекле – то же самое природа отчебучивает с кусочками янтаря – тараканы, клопы и блохи. Непонятно, чем именно были столь притягательны для людей взрослых эти дотошные и неприятные паразиты, обретшие благодаря мне телесное бессмертие в обыкновенном бутылочном стекле. Может быть, оттого, что окружены они были светлыми бисеринками воздушных пузырьков, остающихся после ювелирной оплавки в стеклышках и как бы создающих иллюзию вечного дыхания мемориальных паразитов – иллюзию, имеющую какое-то отношение к терзающим любой человеческий ум размышлениям о посмертном существовании и, разумеется, к страстным попыткам узреть хоть приблизительный, но существенно обнадеживающий образ такового еще при жизни? Не знаю. Товар мой пользовался огромным успехом у пассажиров подмосковных электричек. Лицо человека, купившего, скажем, замурованного в голубоватый осколок четвертинки клопа и близко поднесшего его к глазам, – лицо это, минуту назад бывшее усталым, отупевшим, брюзгливо недовольным окружающей действительностью и готовым хищно приняться к вагонной сваре, вдруг комично одухотворялось страстным интересом, явно выходящим за рамки, так сказать, пошлой покупки. Интерес этот слегка подсвечивался смутной улыбкой, говорившей о самозабвенном удивлении ума перед тем, что обычно исчезает с глаз долой после поимки и уничтожения, а тут вот, наоборот, – в нераздражительной форме завлекательно свидетельствует о чем-то более возвышенном, чем коварный, полночный укус в чуткое предплечье, привораживает чем-то ужасным и одновременно ублажающим, словно в детстве бабушкина сказка...

Я даже подумывал временами, что Мавзолей в Москве создан обезумевшим в те времена от ужасов общественной катастрофы государственным разумом с одной, совершенно инстинктивной целью: создать временный центр всенародного отправления жажды хоть какого-нибудь образа бессмертия личности.

Если бы – позвольте заявить вам это со всей откровенностью – кусачего этого таракана не объявили вечно живым и не вправили бы его желтоватый трупик в хрустальный гроб да не выставили бы под охраной на зрительную потребу миллионов новейших трупоиолопоклонников, то неизвестно, что с этими любопытными миллионами стало бы.

Ведь после катастрофы Октября, Гражданской войны и разрухи неминуемо грянула бы катастрофа духовная. Собственно, она и так грянула, но духовная жизнь огромной нации, точнее говоря, многих наций, составляющих, иногда не по своей воле, необозримую нашу Империю, далеко, знаете ли, не фабрика, не помещичья усадьба, не банковское учреждение и не свободный рынок, – духовная жизнь нации продолжает трепыхаться, и трепыхание сие необходимо поддерживать различными суррогатами Веры, Надежды и Любви. Мы ведь церкви разрушили, священнослужителей пересажали, за Богопочитание клеймили, карали, били по рукам и ногам, – как же в мрачную и безумную российскую пустыню было не подкинуть чего-нибудь такого бессмертного как бы и потустороннего, но пребывающего на глазах обывателя в хоть сколько-нибудь доказательном и близком к натуральному виде? Вот и подкинули в самое сердце Империи хрустальный гроб с ужасно похожим на моих мемориальных клопов, тараканов и паучков незахороненным существом. Наделали с идола этого миллионы бумажных копий, а также гипсовых, гранитных, мраморных и бронзовых истуканов.

И вот точно так же, как в голодные времена способен человек поддержать свою телесную жизнь пожиранием кожаных изделий, так и во времена духовной подыхаловки и доходиловки не брезгует, бывает, человеческая душа наброситься с отчаяния и по внушению надзирателей – убийц нормальной народной жизни – на некий трупный, простите за выражение, консерв...

После вышибона из института я, если помните, подхалтуривал в электричках. Безделушки. Писающие чертики. Пульверизаторы пикантной, но законопослушной формы. Бесмертные насекомые в стеклянных мавзолейчиках... И вот – отводит меня однажды в тамбур пожилой человек с профессорской внешностью. Он что-то говорит, а я не слышу, потому что оба моих уха заложены наглухо особой, сочиненной лично мной замазкой. Замазка предохраняла меня почти на сто процентов от матерщины. Ноздри мои тоже заложены были мягкой ваткой. Атмосфера электричек, вокзалов и прочих мест нахождения смятенных человеческих тел доводила меня обычно до внезапных рыданий и сердечной боли не физиологического происхождения... Он что-то говорит, а я не слышу. Выходим на остановке. Вынимаю из ушей замазку. Из ноздрей – ватку. Оживаю от дыхания пристанционных тополей, больницы горечи шпал, тоски древесного перрона и эвклидова одиночества холодных рельсов. Как сейчас все это помню...

Шеф Наук – так этот человек мне представился – взволнованно набросился на меня со справедливыми упреками. Вы, говорит, закапываете талант в вагонной скверне. Вы – без минуты Челлини... Вы делаете со стеклом примерно то же, что сильная власть с человеком. Вы облагораживаете его, словно неотразимая женщина в нужном ей направлении... На коленях молю вас пожаловать в мою лабораторию... Обещаю выколачивать для вас не менее четырехсот ежемесячно... Гарантирую еще не меньше пятисот за выполнение частных заказов. Тысчонку в наши времена мало кто зарабатывает без риска кинуть свободу псу под хвост...

Чего мне было думать? Согласился. Все же в шатании по всяким людным местам да по электричкам было нечто подоночное. От жалкости такого занятия, особенно когда прихватывали менты, становился я постепенно юродивым. Наигрывал, конечно, психа и болтуна, но для мозга, позвольте вас в этом уверить, клоунада сия унижительная не проходит так просто. Мозг привыкает к вынужденному паясничанью и изгилянию перед самим собой. Я уже начал шута разыгрывать с родной матушкой, а она только плачет и жалеет свихнувшегося отпрыска...

Подробно говорить о деятельности своей в НИИ не буду. Скажу только, что делал там для них чудеса по стеклодувной части и внесению изящного остроумия в самый сложный эксперимент. Академики и доктора, бывало, руками разводили... Орден получил по секретному Указу Президиума, а потом медаль.

Выделили мне садовый участок в охраняемой вблизи НИИ местности. Поставил я там дачку. После работы лежу себе и понюхиваю натуральный воздух и благородные запахи природы. Музыку старых композиторов слушаю и любимое танго... был день осенний, и листья грустно опадали... в последних астрах печаль хрустальная жива... От женского пола отбоя не имею, поскольку не пью, интеллигентен в обращении и отпускаю порой загадочные шутки. Привычка юродствовать так просто, повторяю, не проходит. Но благодаря всему этому складывалось у институтских дам благоприятное мнение о моем характере и рисунке личности. Слухи о больших халтурных денежках, разумеется, прибавляли мне существенного веса. Ноздри же мои, неустанно трепетавшие от чуткой работы на сверхобоняние, внушали женскому полу, что я есть истинный половой гигант, погибающий втуне от скромности и порядочности.

Матушка моя, совсем осчастливленная серьезным перерождением вагонного паяца и шалопая в ловкого подсобника отечественной науки, начала в те времена капать на мозги,

чтобы успел я жениться до ее спокойной кончины и дал, как она выражалась, увидеть свежий вариант нашего рода.

Я же принимался к нашим алкавшим брака девушкам и женщинам. Не в собачьем смысле принимался, а в сверхчеловеческом. То есть старался учуять верную, красивую и соболезную душу посреди симпатичных телес, общей напомаженности и различного тряпья, призванного отвлекать нашу испытующую энергию от дамской сущности.

Ну – и не позволяет мне проклятый мой нюх сблизиться ни с одной из желающих сойтись, даже без мысли о браке. Предостерегает меня нюх от близости... От этой так и разит легкомыслием. От той – мелочностью упреков. От третьей – змеиной ревностью и тягой к выпивке. Несколько дам – отвратительные хозяйки, о чем сами совсем еще не подозревают, выпячивая на первый план романтику турпоходов, доставание билетов на всякие зарубежные кинофестивали и тягу к независимой половой жизни. Несколько стукачек учуял в благородных внешне существах. В одной тихоне, на которую чуть-чуть не клюнул, внезапно распознал мрачную извращенку. Впоследствии ее застукали в секретном нашем собачьем питомнике, где она садистически издевалась над подопытным догом по кличке Нерон. Это прибавило мне осторожности. Я, конечно, послал бы все эти смотрины и выборы к чертовой бабушке, простите за сильное выражение, но я же живой человек. Меня, хоть и запоздало, но начало беспокоить отсутствие противоположного пола по вечерам, а особенно утречком в субботу и воскресенье, когда не надо спешить на работу, но так и тянет вырваться за пределы собственного естества в пылу брачной любви и прочего самозабвения...

Надо сказать, что тоска моя по достойной подруге осложнилась к тому времени рядом счастливых прозрений. Как ни связаны были сотрудники разных лабораторий клятвенными расписками о неразглашении сути ихних исследований даже близким друзьям и смежникам, до меня постепенно дошло, что НИИ-то наш готовит, ко всему прочему, бактериологическую войну. Готовит именно бактериологическое наступление на так называемый свободный мир, а также Китай, но не оборону. Оборонщики, как я понял, занимаются изготовлением всяких хитроумных вакцин, противоядий и систем дезинфекции. Наши же мудрые ученые и изысканная подсобка вроде меня заняты по приказу партии и генералитета выведением неслыханной чумы и заразы, если говорить просто, а не вдаваться в преступную терминологию.

Откровенно делюсь однажды с тем самым большим ученым, который сосватал меня по стеклодувной части. Высказываю моральное беспокойство. Он меня заверяет, что все эти безумные бактериологические дела – всего лишь дань международной военной моде. Западная военщина этим занимается, и мы не должны никак отставать от нее в наращивании секретных научных достижений. Потому что уровень военных бактериологических исследований – свидетельство, кроме всего прочего, общего уровня развития биологии и вирусологии. Мы успешно отставали от Запада из-за травли, которой подвергались лучшие наши умы во время сталинской тирании и лысенковского деспотизма в науке. Теперь не менее успешно догоняем и во много сократили разрыв. Кое в чем даже превзошли своих зарубежных коллег... Не надо беспокоиться. Ужасающие бактерии не пойдут никогда в ход точно так же, как ядерное оружие, а взаимное устрашение Запада и Востока успешно стабилизирует положение в мире. Если же запретят вдруг исследовательские работы и производство БО, то мы с вами, батенька, лишимся теплых мест и брошены будем на пшеничку с кукурузой, как при Хрущеве... Дуйте себе, дорогой, в трубочки, выдувайте свои чудеса и колдуйте над газовой горелочкой...

Тоска, однако, продолжала подтачивать мою встрепенувшуюся совесть потому еще, что при разрядке мировой напряженки увеличил наш НИИ выпуск всеуничтожающей продукции в четыре раза. Что же это, думал я, за разрядка? Это какая-то сокрушительная зарядка. И все это делается вдали от глаз народа. Как можно не допускать контроля с его стороны?... Вот «Правда» пишет, что простой американец, студенты и передовая профес-

сура действительно протестуют против планов военщины, связанных с бактериологической войной. На меня-то разит от нашей газеты застарелой, прогнившей, но приевшейся к народному обонянию лживой трепней. И все же думаю я: почему бы и нам не попротестовать и не поумерить слегка аппетиты наших заказчиков? Мы же видим из окон, как вылазят они из черных своих бесшумных машин и со злодейской важностью расхаживают по лабораториям... Знаем, как рукоплещут они после контрольных опытов по заражению домашних животных и обезьян нововыведенными бактериями... Знаем, что двое аспиранток и трое докторов наук устроили в лаборатории пьянку в честь принятия брежневской конституции, перешедшую в разнузданную оргию. Во время этой тайной оргии одна из аспиранток – я ее, к счастью, успел отшить от себя – неосторожно расположилась в непосредственной близости от смертельно опасного штамма бактерий новейшей чумы «МИР – 2Х», дрыгнула в какой-то момент разнузданной ножкой, и все эти любители веселой жизни и конституции мгновенно схватили заразу. Хорошо еще, что у них хватило личного мужества и общественного страха немедленно доложить о ЧП дежурному начальнику и самоизолироваться до перевода в антииммунной камере в закрытую тюремную клинику. Дальнейшая их судьба нам неизвестна, но ходили слухи, что, для того чтобы выпущенные бактерии чумы не пропадали даром в период острой борьбы нашей партии за экономию производства, зараженным научным сотрудникам предоставили возможность наблюдать в соответствующем месте за течением своей болезни, вести записи, исправлять некоторые ошибки в опытах и написать письмо Центральному Комитету с благодарностью за предоставление возможности совершить высокий подвиг во имя и во славу нашей отечественной бактериологии...

Но, скажу я вам, вопли человеческой совести притупляются и постепенно замолкают точно так же, как может притупиться нюх человека. Поработайте вы, скажем, с месяцев в морге, где анатомируют погибших от различных болезней обезьян, и ничто уже не потревожит слизистой оболочки вашего чувствительного носа. Ничто! Ни предсмертные мучения живых невинных организмов, ни взгляды их, полные бессловесной муки и безумного непонимания своей доли, ни бесовский запах адского греха безжалостной **науки** и ее горделивых, холодных, мрачно-образованных, безнадежно выродившихся жрецов-автоматов...

Вот в этот момент своей жизни, терзаемый сомнениями и ужасом перед попаданием в дурдом – больше ничего не ждало меня в случае одинокого протеста, – я и встретил полюбившееся мне существо. Полное ее имя было Константина. Дано оно было ей родителями – мелкими провинциальными актерами – в честь Станиславского. Увидел я ее однажды рыдающей в рукав белого халатика возле клетки со всеми нами обожаемой шимпанзе Мариэттой – названа так в честь писательницы Шагинян, с согласия МО ССП СССР.

Рыдания и слезы Коти были, на мой нюх, стерильно чисты и искренни. Я почувствовал возможность редкой в наши времена общности взглядов на бесчеловечную и бездарную сущность закрытой бактериологии, работающей на трупных теоретиков «последнего решительного боя» в Генштабе. Не мог не разрыдаться, встав рядом и отечески прижав Котю к своей груди. Котю трясло как в лихорадке, если воспользоваться одним из любимых выражений великого певца униженных и оскорбленных. Никакой половой акт не в силах сблизить мужчину и женщину так, как сблизает согласно вырвавшееся из их душ рыдание.

Тут же у клетки с ничего еще не подозревавшей Мариэттой мы обменялись с Котей чистосердечными мнениями о позорной вивисекции и начали строить фантастические планы спасения славной шимпанзе от смерти в жутких мучениях – мучениях, всячески продлеваемых научным любопытством жадной своры исследователей. Спасти ее, к сожалению, было невозможно еще и потому, что ключи от клеток с животными хранились в спецотделе. Да и куда дели бы мы несчастное животное в атмосфере всеобщей подозрительности и доносительства? В зоопарк не сдать. За границу не переправить. Даже подпольные миллионеры

из Грузии не рискнут тайно приобрести умное заморское животное, любящее носить кепку кандидата наук Бодридзе, и пустить его для пущей экзотики разгуливать по придворцовому саду...

Одним словом, мы сблизились тогда с Котей настолько, что в эту же ночь стали мужем и женой в домишке на моем садовом участке. Мы сразу же взяли совместный очередной отпуск, чтобы не присутствовать в институте во время интенсивных опытов над зараженной Мариэттой. Затем началась нормальная супружеская жизнь.

Вскоре умерла моя мать... Группа, в которой трудилась ассистенткой одного крупного ученого моя Котя, получила закрытую Государственную премию за выведение особой жароустойчивой породы универсальной вши, не оставляющей следов укуса и не вызывающей чесательной реакции, что существенно затрудняет для врага и поддерживающего его гражданского населения поиск источника смертельной заразы. Вот на эту премию мы купили кооперативную квартиру в центре Москвы. Не в центре Котя жить не могла. Эта пижонская, на мой взгляд, но вполне безобидная, как мне тогда казалось, страстишка была, пожалуй, единственным недостатком моей милой, женственной и сентиментальной жены. Котя очень любила гулять по центральным улицам города, а перед сном непременно отправлялась на Красную площадь. К этому ее с детства приучили родители, жившие до переселения в Чертаново на Никольской улице. Я был не в силах бороться с этой невинной, как мне опять же тогда казалось, ритуальной слабостью. Я и сам ничего не имею против величественного пространства сей отечественной святыни. Против ее много чего повидавшей на своем веку брусчатки, расходящейся кругами, словно темная каменная вода, и обтекающей безмолвно мрачное Лобное место, чтобы затем незримо разбиться о чудесную твердыню Ивана Великого. Ничего не имею против стен Кремлевских и башен с ненавистными лично мне электрокрасными звездами. С ними можно в конце концов как-то примириться и вовсе вытеснить из поля своего зрения лишнее это напоминание о напрасно пролитой крови миллионов моих сограждан. Не имею я ничего против ГУМа – всесоюзного торгового муравейника и, если уж на то пошло, против мертвоватых кремлевских елей.

Единственное, что отравляло мои вынужденные прогулки с Котей перед сном, – запах захороненного ленинского трупа и коварное зловоние, вырывавшееся из-под измывательского надгробия Сталина. Смердыня, доносившаяся при нежелательных ветрах до моего носа от многочисленных урн с прахом палачей и партийных идиотов – от урн, замурованных во вместительную, к сожалению, историческую стену, – тоже отравляла прогулочное мое настроение. Кроме того, из Мавзолея обычно потягивало дерьмом и потом обывателя, наезжающего со всех концов нашей Империи для навязанного ему властями похабного идолопоклонства.

Впрочем, сознавая некоторую свою ненормальность и мучительную гипертрофию проклятого органа обоняния, я не вертухался и, пока Котя со странным выражением лица наблюдала за сменой караула, старался отвлечься от мучительных запахов, запашков и мелких раздражительных истечений различной внутрикремлевской вони размышлениями о странностях устройства нашей жизни.

Вскоре началась афганская авантюра нашего правительства и руководящего им генералитета. Котю внезапно перебросили на секретнейшие работы, связанные с выведением особо уникальной блохи, в которой, по заданию начальства и генералишек, должны сочетаться все замечательные качества нововыведенной секретной вши с «высококомобильной оперативностью, повышеннокусаемостью и досадной сверхускользаемостью блошиной породы». Разумеется, новая блоха непременно должна была вводить своей фантастической жароустойчивостью в заблуждение работников повстанческих походных дизобань, которые, по слухам, американская военщина начала уже поставлять врагам афганской революции вместо ракет «земля – воздух», против поставки которых решительно возражает какой-то

спикер Тип О'Нил в конгрессе США. Так вот, пока его не уговорил сам Рейган, необходимо форсировать работы по выведению блохи «Надежда Афганщины – Х6/ Ф7». После выведения этой блохи и опытного обоснования уверенности в ее быстрой размножаемости должны были начаться опыты, ради которых, собственно, и выводилось новое бесчеловечное насекомое. Его намерены были экстренно приспособить к переносу не одной какой-либо болезни в ряды сражающихся басмачей и их пособников в мирных селениях, а сразу нескольких. Это необходимо было для затруднения поисков представителями международного Красного Креста и других псевдосердобольных организаций – этих пособников американского империализма – источников инфекции. Выведению новой блохи, кстати, сопротивлялись ради узких лично-корыстных целей догматики – моноинфекционисты. Одним словом, в НИИ у нас начались перетряски. Котя неожиданно была назначена руководителем одной из ударных групп. Я пробовал было заговорить с ней о нравственном, но действительном сопротивлении и долге хоть как-то затормозить людоедские исследования. Котя ответила, что, зрело поразмыслив и окинув взглядом историю науки, она раз и навсегда поняла, что есть в этой героической истории нечто трагическое и превышающее наше обывательское разумение. Все жертвы, в том числе и бедная Мариэтта, не пропадут даром. Жертвы эти мужественно положены нами в основание растущей ввысь крепости человеческого здоровья, без которого коммунизм просто немыслим, как немыслим успех афганской революции без уничтожения ее врагов – бешеных и подопытных собак американской реакции...

Вот как, господа-товарищи, заговорила Котя, стоило ей только подобраться поближе к кормушке и к возможности быстрой научной карьеры.

Мне не привыкать было, разумеется, к хитроумным душевным и умственным маневрам конформистов, старающихся успокоить навек свою некогда чуткую, воспитанную книгами Солженицына и других истинных правдолюбцев совесть. Мне к этому было не привыкать. Да и у меня самого, нелишне будет заметить, неприлично заложило нос на происходящие вокруг мерзости. Заложило его постепенно от всеуспокоительной тишины мирного моего семейного счастья, которое хотелось мне тщательно оберегать от зловония мировой и отечественной истории. Заложило его также от чувства полной безысходности и бесполезности протеста.

Людей на каждом шагу сажали либо в дурдомы, либо в лагеря за дела и протесты несравненно более невинные, чем какое-либо мое обращение к мировой общественности и приоткрывание ей глаз на преступные исследования в лабораториях нашего НИИ. Котя, моя Котя, с которой я забывал о своем собственном существовании и об уродствах бедственного международного положения, сутками, бывало, не выходила из лаборатории, выводя полки полиплоидных блох, стойких к полевым дизобаям, превосходящих по прыгучести и кровожадности своих исторически устаревших родственничков и успевающих скрыться с места укуса задолго до возникновения в нем характерного зуда. Группа Коти поставила также перед собой научную сверхзадачу: привить новому блошиному потомству так называемый «конвергационный ген». То есть «Надежда Афганщины – Х6/Ф7» обязана была иметь врожденную склонность к проживанию и активным действиям не только в непосредственной близости к телам врагов и вражеских пособников, но чувствовать себя как дома в овечьей шкуре, вздорной конской гриве, беспокойной собачьей шерсти и в тихой кошме кишлачных строений. И вообще, весь научный поиск официально был посвящен, как это водится в советских НИИ, очередному будущему съезду нашей партии.

Я, как говорится, рукой махнул на происходящее. Я же не в силах был прекратить бесчинства распоясавшейся секретной бактериологии, как не мог внести благородный порядок в общую историческую катавасию. Слеза, бывало, стекает из глаза моего по свежевозникшей морщине к поникшему воскрылию ноздри, застывает на ней, и вдыхая я до грустного охла-

ждения сердца сирую отраву брачной своей пустыни, потому что Котя дня четыре в неделю безвыходно просиживала в лаборатории, а обстановка секретности вокруг важного проекта все ужесточалась. Я уж и в столовой перестал встречать свою супругу. Тоска разлуки до того дошла у меня, что я стал поджидать Котю у женской уборной. Охота было перекинуться хоть парой нелепых, но полных глубокого чувства слов. Однако весь женский состав ударной группы стали выводить на оправку в сопровождении трех каких-то форменных гермафродитов с угловато-чугунными ряшками и округлыми плечами. Они же мрачно и решительно сопровождали в мужской сортир состав исследовательского проекта. На нас нанятые где-то гермафродиты смотрели исподлобья, а неестественно длинные свои ручищи держали в карманах оранжевых халатов, как бы давая понять, что любой пытающийся вступить в контакт с учеными и лаборантами немедленно получит пулю в любопытный череп... Все это санкционировано свыше – намекал этот омерзительный взгляд исподлобья...

Наконец наступил решающий момент мерзкого научного эксперимента. Это все мы поняли потому, что однажды увидели, как во двор НИИ заехали две спецмашины с надписями на кабинах «МИРУ – МИР! ПЛАНЕТЕ – СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ!». Сопровождали их военные мотоциклисты, которые неосторожным ревом своих зверских машин всполошили чуть ли не всех сотрудников. Из-за какой-то несогласованности в действиях конвоя и наших гэбэшников мы увидели, как из машин выводят странно одетых молодых и старых мужчин. Черные их бороды не могли скрыть землистых и бледных, искаженных постоянной мукой лиц.

Это, несомненно, были пленные афганцы. В сопатку мою шибанул вдруг такой нестерпимо острый и вместе с тем тупо оглушающий запашок стыда, боли и причастности к предельно изощренному насилию, что ноги у меня подкосились. Я упал в более-менее спасительный обморок на глазах своего Шефа. Очухавшись, увидел рядом с собой Котю. «Все хорошо, Серый, – сказала она, – все хорошо... Домой едем вместе. Ты, наверное, сидел там без меня на воде и хлебе?... Все хорошо... Глотни спиртику. А я получу наградной паек... икорка, балык, клубника, заливной язычок... какие-то африканские фрукты... наконец-то их научились безболезненно транспортировать... докумекали... и домой... все хорошо...»

Она поспешила в спецбуфет, где отоваривалась наша номенклатура и все премированные за разные достижения по выведению эффективных бацилл, неотвратимых вирусов, подрывных насекомых и мелких грызунов – переносчиков наступательной заразы в городской и деревенской местностях. А Шеф говорит мне сочувственно: «Надо вам, Сергей, сбалансировать как-то эмоциональную жизнь с помощью новейших транквилизаторов. Я это готов устроить. Ляжете и в спокойной академической обстановке подштопаете надпочечники, призовете к порядку гипофиз с гипоталамусом, одним словом уравновесите свою эмоционально-душевную жизнь в сторону некоторого равнодушия к неразрешимым, в сущности, нравственным проблемам и успокоения слишком уж дезориентированной своей совести. Надо ведь жить, надо исследовать, надо поверить – просто взять и поверить, – что раньше жертвы приносились на алтарь вымышленного божества, то есть, по сути дела, псу под хвост, а теперь мы вынуждены в целях прогресса приносить тщательно обдуманые и абсолютно целенаправленные, полезные жертвы **науке**, в трагически-благородных поисках которой – разрешительный смысл **истории** и нравственное оправдание жрецов научного поиска. Между прочим, ваша жена в течение двух лабораторных суток добровольно и без ведома партбюро со спецотделом подвергала себя суровейшему испытанию: она с ошеломительным терпением вынесла несколько сотен контрольных укусов нового, весьма многообещающего поколения блох. Разумеется, еще ничем не зараженных. Но ведь, согласитесь, среда функционирования полезного нашей глобальной политике насекомого должна и в экспериментальных условиях максимально приближаться к естественной. Несколько ученых-подвижников, чью самоотверженность военная бактериология никогда не забудет,

не могут, к сожалению, заменить одного натурального объекта боевых укусов с таким трудом выведенной блохи. Блохи, поверьте мне, отличаются, скажем, от вши или клеща поразительной разборчивостью и приводящей науку в недоумение избирательностью... Так что давайте уж я устрою вас поваляться, с вашего, разумеется, согласия, в закрытую клиничку. Я там у них – консультант и руководитель нескольких очень интересных диссертаций. Одновременно и горелочкой поорудуете. Они давненько вас у меня выпрашивают. Вот и попопрошите заодно этих трижды и четырежды лауреатов Государственных премий. Идет?...

Что мне было делать? Я согласился. Тем более, когда мы с Котей направлялись домой, она говорила, что близится новая серия закрытых опытов и ее все равно не будет дома.

Кроме того, она высказала желание купить «жигуленка», на который одной надвигающейся премии не хватит. Мне необходимо подхалтурить на выдувке приборов. И пора уже в конце-то концов поднять цены на выдуваемые налево изделия. Дорожает водка, икра, ковры, драгоценности, фрукты на рынке и косметика в «Березке». Над моими чудаческими тарифами, сказала Котя, уже начинают посмеиваться люди с чувством реальной жизни... Хватит принохиваться к тому, что ничем в принципе не пахнет...

В тот вечер и в ту ночь, почти до утра, спорили мы с Котей до хрипоты и частичного разрушения желания супружеской близости о политике Генштаба, преступности военной бактериологии и химии и прочих беспокоивших мою совесть предметах... Спорили, и я с печальным недоумением разглядывал такое любимое тело, сплошь покрытое блошиными укусами. Долго спорили.

Я, как всегда, примолк, потому что, повторяю, не в силах был принести единственное свое – семейное – счастье в виде высоконравственной жертвы на алтарь воспаленной и страдающей совести. Этого сделать я никак не мог. Мне оставалось только залечь в закрытую клинику и попытаться установить спасительное равновесие, как сказал Шеф, между амбициями этой самой совести и отношением к неизбежным странностям современного мира и человеческой истории. Может, подумал я в отчаянии, действительно неадекватно реагирую я на условия развития жизни и науки? Может, похожу я при этом на патологически мнительного человека, которому кажется, что все люди только и делают, что назло ему портят воздух в общественных местах и при этом ехидно про себя подхихикивают, тогда как воздух вокруг не запакощен ни малейшим шкодничеством, а причины мнительного беспокойства опасно размещены в незалеченной психике раздражительного существа?...

Нет, решил я, тут, должно быть, что-то не то. Обоняние мое слишком уж распоясано и травит разум запахами явлений, которые и заглушают работу мысли по небрежливому освоению противоречивой действительности... Залягу и вообще обращусь к закрытой медицине с просьбой о ликвидации во мне чувства обоняния. Нос в конце концов – не пара глаз и не лопушье, необходимые в нынешних условиях существования на этом, во всяком случае, свете... Запах котлеты или жены можно взять и вообразить со всей возможной силою. Зато со скольким зловонием покончу я разом и сколько всего дурнопахнущего смогу держать презрительной своею, но ныне бессильною волей на джентльменской дистанции!

Одним словом, с этими настроениями я залег подремонтироваться, захватив с собою из дома – чтобы не изнывать от скуки и тоски – любимое художественное произведение «Нос» Н.В. Гоголя. Полеживаю, почитываю таинственное это иносказание писателя, крайне чуткого на распространение в мире и в жизни даже самых мелких грешков, источающих вполне сносную для терпения и нюха неприятность, не говоря уж о его чутье предельно выразительного смердения мирового зла. Не случайно, думаю, взялся он за «Нос», не случайно профилактически откочерыжил его с физиономии героя, перед тем как отважиться в одночасье на путешествие по моргообразным пространствам – местообитанию Мертвых Душ... Так вот и я, думаю, поступлю... В наше время ничего откочерыживать не надо...

Нос же – это всего-навсего видимое олицетворение скрытого в моем мозгу больного органа обоняния... Введут в мозг электродик, впустят в нужное место разрядик тока, да к тому же перекроют смежные связи мысли с запахами всего того, что, на нюх нормальных людей, не только не пахнет, но и не должно пахнуть... Слишком тяжело чувствовать и осознавать все непотребное в себе самом и в людях, да еще вдобавок обонятельно изнывать от миазмов внутренней и внешней политики правительства, кошмарного бздо Запада и мелкой смердины окружающей действительности... Тяжко...

Котя плану моему весьма обрадовалась. Просто расцвела, словно первую брачную ночью нашей в махоньком домике на садовом участке... Черемушка... душок черемуховый, доводящий носоглотку до форменного опьянения...

Я, говорит Котя, так радуюсь, что решился ты подремонтироваться и отдохнуть сверхчуткой своей душой от безумной сложности жизни, что уже теперь как бы предчувствую твое возвращение... Ну у меня от слов таких вдохновляющих в глазах – роса, в душе – вокзальная тоска, в уме – отсутствие осмотрительности. Мужественно готов к единоборству с клиническим временем пребывания в спецдурдоме исследовательского типа... Напоследок сказал так: «Вы хоть обращайтесь с пленными по-человечески. Не трансформируйтесь в освенцимский фашизм. Наука наша проклятая наукой, но ведь и совесть иметь надо. Надо душою воспринимать – **что к чему**, а не брести за научным любопытством, как голодные собаки бредут за обмусоленным кукишем...» «Это все, – ответила обнадеживающе Котя, – они там в тебе подлечат. Я сама позвоню Главному и все объясню. Главное: давай – полегче. Поверь наконец, что цинизм в малых дозах просто необходим всем нам для здорового выживания в современных условиях. Можем мы изменить существующий и не нами с тобой порожденный порядок вещей?» «Не можем», – сказал я на прощание, хотя что-то во мне сопротивлялось такому унылому согласию с беспросветностью исторических перспектив. Что-то сопротивлялось во мне и настоятельно требовало, так сказать, обнародования, то есть желало забастовать и высморкаться прямо на парадный китель генеральского этого **порядка вещей...** Без меня, господа... без меня... вы, позвольте заявить решительно и бесповоротно, **очумели...**

Но поздно было на пороге прощания с любимым существом выкаблучиваться по-граждански. Поздно. Тем более, предчувствие возвращения домой в поправленном виде может морально обезоружить любого сомневающегося в порядке вещей человека...

Не буду описывать своего пребывания в **нейросекторе** «закрытой клинички», как сказал мой Шеф. Сотрудники, которых бросили на исследование моего обонятельного феномена, ни о чем меня не расспрашивали. Им, очевидно, со слов Коти и Шефа все уже было известно. Это меня существенно взбодрило, потому что мысль о тупой необходимости заполнять «историю болезни» заполняла скверной тухлецей ум и отравляла настроение сердца. Конечно, размышлял я, без наличия у врачей таковых историй, несмотря на яркость всей симптоматики, проблема излечения усложняется. Но почему бы им не допустить, в **моем** хотя бы случае, что история **моей** болезни – прямые и непосредственные потемки. Ничего тут не доищешься. Это все равно, что рыть колодец не вглубь, а вкривь и вкось.

Нелепо. Ясно, что всплыл во мне оригинальный ген, а вот отчего он всплыл и откуда – не дороешься... Прижгите мне его, пожалуйста, и на том я скажу вам спасибо. Хватит. Нанюхался... Лечись и сравнивайся с остальными людьми возможностями обоняния, терпения, рассудительности и скромностью воздержания от злобного протеста... Иного выхода нет...

Затем ученые и их ассистенты начали готовить меня к конкретному, как они выражались, вмешательству в участок мозга с локализованным там центром гипертрофии чувства обоняния.

Само это «вмешательство» прошло безболезненно. Только странно мне было после анестезии привыкнуть к атмосфере палаты и не учуять ничего, кроме стерильного покоя. Голова не болела. Повязка не мешала. Чувствовалось, что череп предельно выбрит. Ясно было также, что око телекамеры направлено прямо на меня. Но это не раздражало. Наслаждение мое покоем не хотелось нарушать ни движениями, ни речью. Меня мог бы понять в те часы человек, проживший всю жизнь, скажем, в кузнечном цеху или в лаборатории, где ни на секунду не умолкает рев испытываемых моторов, а потом внезапно выброшенный судьбою в дикий лес и убаюканный полным безветрием... Такой это был покой, происходивший от бездействия обоняния. До носа я даже не желал дотянуться слабою рукой. Казалось, что вместо него на физиономии моей – голое место. Пустырь, никому не напоминающий о стоящем здесь некогда нелепом и досадном строении... Дышал я только ртом, побаиваясь возобновления действия нюха в обеих бесчувственных наконец-то ноздрях... Не мешало бы, думаю, слинять из НИИ. Без меня, скажу, господа, без меня... Сам же готов работать в таком состоянии даже в морге Первой Градской больнички, запашки из которого проникали, бывало, в детстве в коммунальную нашу каморку, доводя меня до панического ужаса и судорог омерзения...

В морге, думаю, теперь мне будет гораздо легче, чем с еще живущими товарищами людьми. Там – как на лугу, присыпанном глубоким небесным снегом: ни аллергии с чихом и слезою, но чудесный сон природы, затягивающий и тебя в блаженнейшее забытие... Или – так-то оно будет вернее – как на городской свалке, начисто погребенной под ночным снегопадом. Вблизи от одного из таких тоскливых кладбищ цивилизации пришлось мне существовать в молодости, что не могло, конечно, не наложить печати угрюмой брезгливости на мои размышления о сотворенной человеком на Земле **второй природе**. Никак не могу удержаться и не добавить – **природе**, довольно бездарно враждебной **первой**, истинной и великолепной со всеми своими стихиями – как смертоносными порою, так и ублажающими душу и благородно подкармливающими тело человечества... Нет теперь для меня, мечтаю все проникновенней и проникновенней, служебной атмосферы уравновешенней и благоприятней. Тишина. Свободы, Равенства и Братства весьма удачный вариант, как сказал поэт. Всех одинаково жаль... На свалку, разумеется, легче будет устроиться, поскольку, по слухам, работа в морге весьма обогащает.

Много чего приходило в мою голову в первые дни после нейрооперации в порядке озабоченности и пересмотра принципов жизни. Много чего вспоминалось из того, что вытеснено было памятью из своих заглазников или вовсе не принято, как казалось мне, в согласии с моим отношением к разного рода мировым и общественным отвратностям. Я словно бы переживал заново все, что не в силах был пережить ранее, однако переживал без какого-либо содрогания и впадения в беспредельное уныние...

Кстати, в первую кормежку я довольно равнодушно отнесся к вкусовому одноподобию принесенной мне пищи. Плевать, думаю, когда ученые фиксировали на тончайших приборах обонятельные мои реакции, что биточек, хлеб и компот теперь уже оригинально не пахнут, что и на вкус они существенно поуявили – плевать. Если бы человека вообще – в соответствии с мечтой Митеньки Карамазова – слегка по всем статьям и страстям вдруг сузили, то все мы гораздо меньше безумствовали бы, не так бесились с жиру по всякому малозначительному поводу и, уж конечно, совокуплялись бы не ополоумевши – ни с того ни с сего, – но исключительно сдержанно и целесообразно, как и положено Венцам Творения. Меньше бы обращали внимания на избыточную тягу к перемене внешних мод, но углубленней внимали бы оттенкам развития чувств и мыслей, не говоря об упоении постоянством и волшебной роскошью мод в царстве растительности. Кто знает – может, и причин для умонепостигаемой взаимной вражды лиц и народов стало бы вдруг меньше, а истина того, что человек человеку – брат, проникла бы непосредственно в сердца и души, преобразившись из настораживающей

и сомнительной для многих мысли в самый властный и чуткий инстинкт поведения?... «Да, да, да! – самозабвенно отдавался я ничем не сдерживаемому потоку размышлений. – Если бы трепливая наша и обросшая ложью КПСС вместо хронически холостых и невыполнимых своих бездарных постановлений и решений «о дальнейшем расширении ассортимента...», «дальнейших шагах по увеличению...», «дальнейших мерах по углублению борьбы с...» отчаялась вдруг на действительно историческое постановление «о дальнейшем сужении эффективной натуры советского человека с одновременным эффективным расширением его человеческих обязанностей и гражданских прав...», то все мы в ближайшие же пятилетки поумерили бы свои амбиции в жизни, науке, политике и хоть слегка взнуздали бы безрассудство погибельных страстей и интересов... Хотя, – тут же отвернулся я от плохо прикинутых проектов, – если за назревшее дело некоторого сужения «слишком уж широкого человека» примется именно советская власть, то в лучшем случае никакого не произойдет нравственно необходимого «сужения» нашей исторически распоясавшейся натуры, но настанут времена всеобщего и уж окончательного обмельчания этой самой непокорной и сверхзагадочной стихии... Лучше пусть все идет своим чередом и в порядке персональной борьбы с дальнейшим расширением человеческой натуры... Может, со временем мы и сами потихоньку сузимся. Сузимся и скрутим горло некоторым нашим основным заносчивым амбициям, а там, даст Бог, сужение такое настанет, что мы при жизни еще сможем спокойно протискиваться сквозь игольное ушко, к полнейшему изумлению партии и правительства...»

Явилась ко мне сразу же на свидание Котя. Уткнулся в ладонь ее сжавшимся от расstroганности носом, тыкаюсь по-щенячьи, и не беспокоит меня, как всегда, слишком уж настырный и едкий запах ее зарубежной парфюмерии, к которому я всегда относился с раздражительной ревностью, а порой и с ненавистью. Правда, общее мое чувство чудесной неповторимости жены лишилось такого одного качества, которое в словах невыразимо, которое даже я – гипертрофик обоняния – учувил с большим трудом, да и то в минуты наивысшего подъема душевных сил, и которое можно было бы весьма приблизительно назвать качеством предельного родства и любовной единственности. Но Котя не перестала бы быть Котей, если бы я, скажем, ослеп, ко всему прочему, оглох и трагически атрофировался как мужская половина нашего совместного, предельно цельного чувства? Не перестала бы, безусловно. Да если бы даже замер я безмолвно и неподвижно с полным притуплением осязания на инвалидном ложе, подобно пресловутому Н. Островскому, если бы лишен был возможности на ощупь определить, кто тут безутешно склонился в данный момент над печальным моим полутрупом, то верил бы я, верил, верил – склонилась надо мною Котя...

Беседуем о том о сем. К работе НИИ не проявляю никакого интереса. Прошу поусетиться и настоять на скорейшей моей выписке отсюда. Настроение у меня жизненное, а желание близости сводит вечерами с ума, хотя подумываю о необходимости сужения себя по этой части. «Как, – интересуюсь, – проводишь время? Кого видишь? Что читаешь?» «Времени ни на что не остается, – отвечает Котя. – Иногда сутками пропадаю в лаборатории. Проводим контрольные опыты... Только не волнуйся и не принимай всех этих необходимых для развития науки дел близко к сердцу. Я настояла на том, чтобы сотрудничающим с нами объектам – пусть даже все они басмачи – вводили инъекции, во много раз уменьшающие чувствительность кожи. Теперь серии укусов почти их не беспокоят. Практически они не чешутся... Если бы не военные этнографы, работа шла бы гораздо быстрее. Эти хлюпики изучают открытый мною феномен долговременной связи „НАДАФКИ“ – ласковое прозвище блохи – с кусаемой этнической общностью. Говорят, что исследования эти необходимы, в свою очередь, бионикам. Морока. Хотя я, поговаривают, схлопочу Государственную и по кибернетике как эффективная смежница. Сможем, пододолжив, внести за „жигуленка“. Тебя все ждут не дождутся. Черненко по-прежнему крадет спирт, нажирается и не в состоянии выдуть тонкого подхода к сенсорным датчикам реторт...»

Лепечет все это Котя, а я внимаю без малейшего трепета нервишек. В лепете – неделю назад у меня от него крапивница пошла по шее и изнанке предплечий – не учуиваю не то чтобы никакой скверны, но не учуиваю я в нем даже смысла. Равнодушно киваю. Тихо покручиваю пуговичку на пижаме. Котины пальчики перебираю. Хотелось бы поцеловаться, но проклятый сосед по палате, не переставая, бормотал свои безумные задачки по идиотской математике и одержимо расхаживал мимо нас с Котей.

Я попросил Котю удалиться и настоять на моей выписке. Перед выпиской меня подвергли всесторонней проверке. В истории моей болезни, повторяю, были перечислены Котей, Шефом и некоторыми моими опрошенными знакомыми «атрибуты жизни, на которые больной реагировал резко отрицательно и ассоциировавшиеся в его обонянии со всем дурно пахнущим». Включали магнитофон. Я слышал разговор подростков в подъезде... высказывания каких-то граждан по поводу подорожания водки... абзацы из передовой «Правды»... унылые звуки речи пленных афганцев во время проводимых на них опытов... Много чего я слышал и думал, что записи подобного рода являются не чем иным, как доносами на меня – форменными доносами, хотя и сделанными с благожелательной целью... Но обоняние мое было бесчувственным. Меня не подташнивало ни от мата, ни от скабрёзности, ни от социальной тухлятинки, ни от скверного слова «донос»... Я спокойно думал об «атрибутике жизни» в соответствии со всеми всегдашними вкусами, нравственными установками и так далее. Но думы мои были оптимистичны, а не невыносимы, как до операции в черепе. Они не мешали жить и как-то освободительно одухотворяли своим очевидным благородством. Мысленно я отнес себя к самому омерзительному для меня прежде типу людей – к сытым и всеустроенным советским либеральчикам. Встречал я их и среди институтских подружек Коти, прикипевших к кандидатским и докторским микроскопам, и в домах отдыха, где они уютно покачивались на коротких волнах «вражеских голосов», и среди своих близких знакомых. Они «буквально проглатывали», по их выражению, самиздатские романы и прочие печатные обличения власти; они восхищались от всей души как неистовством «Солжа», так и «очень дельной конвергенщиной Сахарочка»; они воротили носы от газетной лжи; они поругивали правительство за полную бездарность, а партию – за бесстыдную кастовость; они покручивали пальцами у височков при разговорах о «безумных внешнеполитических авантюрах» и так далее. Но на отчаянно и по пьянке поставленный кем-либо вопрос: «Так что же делать, господа?» – разводили руками, и на лицах их появлялась печать возвышенного почтения к тому, что они считали священным и жутковатым божеством, – **к исторической необходимости**. На меня-то от этих двух слов налетало обмораживающее бездушие сверхнизких температур, начинало подташнивать, хотелось разнести все вдребезги, я начал дерзко спорить, но руки мои опускались от безмерной усталости сердца и полной безнадёжности, когда все остальные дружно сходились на том, что ни в коем случае нельзя раскачивать лодку. **Нельзя раскачивать лодку...**

С этими словами я и вышел из клиники. Шел домой пешочком. Шел осторожно, как бы стараясь не нарушать нового и небесприятного для меня чувства равновесия жизни. Постоял просто так пару минут в какой-то очереди, чего раньше терпеть не мог из-за устоявшейся вонии многолетнего унижения, которой несло от подобных людских скоплений... Ничего, подумал, стоять можно, раз все стоят. Не в крематорий же очередь, а за коврами...

Явился домой. Меня ждал обед с винцом. Котя премило суетилась. Сообщила, что вскоре поедет в Женеву как новоизбранный член Всемирной организации «Врачи за предотвращение ядерной войны» или чего-то в этом роде. Меня все это мало трогало. То есть вообще не задевало. Я и ел равнодушно. Потому что – одно дело, когда различаешь и смакуешь вкус бульончика, пирожка с мясом и рисом, цыпы под каким-то диковинным соусом, а главное – винца, но когда все блюда на один вкус, тогда – другое дело. Пожевываешь себе и подумываешь с некой иронической печалью о странной исторической необходимости под-

держивать жизнь таким вот причудливо опозитизированным образом – изощренная рецептура блюд... десятки тысяч соусов... сотни специй... бесчисленное количество их смесений... зачем? Ведь лошади и коровы одну траву жуют, а сил у них намного больше, чем у нас, похрустывающих косточками цып и лопающих на десерт творожный торт с малиной... Зачем все это?... Зачем?... Надо упростить меню и перейти на служебный спирт... Теперь от него, очевидно, не будет разить античеловеческими добавками...

Разумеется, мы с Котей залегли в кровать после просмотра информационной программы «Время». Кстати, когда диктор Кириллов сообщил, что камвольный комбинат имени XXIII съезда партии досрочно сдал государству десятимиллионный метр ткани, я только усмехнулся под испытующим взглядом Коти. До операции в мозгу меня просто выворачивало от омерзительного наигранного пафоса всех этих наших дикторов и от того, как они дают всем понять, что только служебный долг мешает им разрыдаться от волнения при сообщении о досрочно произведенном в Воронежской области ремонте сельхозинвентаря или о повышенных обязательствах, которые взяли на себя в преддверии... Ужас. Ужас... Но в тот вечер я равнодушно заглотил всю телебредню, и мы залегли в кровать...

Половое сношение с Котей произошло довольно физиологично, то есть формально, без частичного самозабвения и судорожного счастья постижения тайны соития с любимым человеком. Возможно, произошло это потому, что я не учуял, как всегда, чудного и дикого веяния лаванды от постельного белья. Возможно... Но лучше оставить малосущественный разговор об интимной жизни...

На работе все встретили меня с искренним воодушевлением. Спирта было вылакано рекордное количество. Пил я его как безликую жидкость. Прилично закосел. На закуску сложили списанную из *«отдела изучения последствий усиленной радиации»* жирную курицу. Ее не успели еще облучить. Зажарили курицу в фольге, в керамической печи, с картошкой, маслинами из еженедельного пайка Шефа и лимоном. Пили и ели, рассуждая, что уж лучше нам первыми нанести однажды неотразимый ядерный удар по врагу, чем зевнуть и оказаться зажаренными в верхнем слое земли вместе с курицами, овцами и овощами... Раз пахнет исторической необходимостью атомной войны, то надо вдарить первыми. Один раз вдарить, принести в жертву массу не собственного народа, а уж потом... потом наступит долгожданный мир... потом бросим все ресурсы на сельское хозяйство... Солжа издадим... Сахарова подлечим и даже назначим Президентом Содружества Победителей... Свернем военную бактериологию... История не может не оправдать тех, кто нанесет первый сокрушительный удар с благородной целью навсегда покончить с войнами и резкими социальными контрастами...

Я все это слушал и помалкивал. Не отвращался. Пусть себе порят чушь. Стеклодуву, нелишне будет заметить, пить спирт во время рабочего дня ни в коем случае не следует. Стекло, можете мне поверить, не бесчувственно. Оно требовательно и благородно воспринимает состав твоего дыхания, и это отражается прямым образом на характере отношения выдутого предмета – особенно предмета тонкого и замысловатого – к ходу сложного опыта. Кроме того, стеклодуву пить на работе весьма опасно. Этого я и не делал никогда. Пил с друзьями после работы. Спирта всегда было – по горло. А в тот день мы прямо с утра начали обмывать мое возвращение и излечение от странного психотелесного недуга. Одним словом, надрался я до того, что забылся и дунул сивухой через свою трубочку в раскаленную блямбу. Подостыв уже в законченном изделии, выдутая блямба ответила мутноватостью в изгибах, а на прикосновение к себе специальным моим камертончиком алкогольно тренькнула, но не зазвенела чистосердечно и благородно. Кроме того, я с ней порядком намучился и чуть было не опалил губы. Ведь сивушный дух в соприкосновении с высокой температурой и под грудным давлением, когда попадает он внутрь выдуваемой вещицы, имеет неприятную тенденцию возмутиться от жара и стеснения и рвануться обратно. Могла и меня постичь

судьба многих моих коллег, но я увернулся вовремя, додул кое-как, отдал заказ Шефу, получил от него еще грамм двести, и гулево наше продолжалось даже после работы. На следующий день изделие мое лопнуло во время опыта, чего раньше никогда не случалось. Стекло, повторяю, не бесчувственно, как и прочие природные вещества, находящиеся в контакте с человеком и подвергающиеся наступательным порывам его безумного любопытства.

После этого я завязал с выпивкой во время рабочего дня. Живу довольно рыбообразно. Полный вокруг меня штиль.

Лодка не раскачивается. Плевать мне, думаю, на всех на вас и на себя в том числе. Порядок вещей мы изменить не в силах. Хорошо, что хоть пованивать перестало от мира и общества... Интересно мне было поболтать по душам с некоторыми случайными человеконогими личностями, к которым пару недель назад я бы близко не подошел. С Котей тоже установились спокойные отношения. Делами ее не интересуюсь. Осуждений не высказываю. Обсуждаем, что она мне приволокет из Женевы, где вся их шарашка собиралась обратиться в ООН с воззванием насчет гуманистических принципов современной науки и роли врачей в борьбе за мир. Прошу привезти пару фирмовых галстуков и чего-нибудь возбуждающего аппетит. Потому что с полной потерей обоняния я перестал ощущать вкус пищи с прежней чувствительностью и избирательностью. К жратве уже не тянуло, а отталкивало от нее. Все – каша, резина, пойло, сухомять и баландамерия...

Проходит примерно месяц. На черепе моем стали отрастать волосы. Живу спокойно, но попивать спиртик – попиваю. Без него, чувствую, вообще пропадает аппетит не то что к еде, но к брачной жизни и к ежедневному существованию. Не случайно же советский наш алкоголизм всенароден. Притупила, соображаю, советская власть вкус людей к истинно достойной жизни, вот мы и докомпенсировались чуть ли не до всесоюзной белой горячки. Природа везде свое возьмет, думаю, если не благородным, то поганым каким-нибудь образом. Природе брезговать не приходится. Человек протестует против чрезвычайного управления собою и намеренно искажает свой образ перед всевластным рылом правительства, потому что если ему не дают существовать правдиво и возвышенно, то он должен хоть в ужасном деле самоуродования проявить некоторую инициативу...

Вызывают меня однажды на партбюро. Если, прикидываю, начнут пропесочивать за выпивки и вымогательство спирта у научных кадров – пошлю их всех к ебени матушке. К матерку, должен сказать, я быстро пристрастился после операции. Не злоупотреблял бранью и сквернословием, но взял все, от чего прежде с содроганием отвращался, на вооружение. Нельзя и в таком деле так уж горделиво противопоставлять себя народу. Раз слился ты с ним и в выпивке, и в полном наплевательском отношении к творящейся от нашего имени истории, то и в остальном сливайся. Ходи на хоккей. Поругивай провинцию, обжирющую Москву-матушку. Тупей от «Правды» и антиссионистских книжонок. Строчи – мудак – письма Рейгану, чтобы прекратил он свои звездные войны против территории нашей Родины. Проклинай одновременно кубинцев, черных и арабов, которые высасывают все жилы из русского Ивана, а потом, скорей всего, насрут за пазуху в знак глубокой благодарности за нашу верность интернациональному долгу и делу освобождения народов от ига империализма. Завидуй, разумеется, полякам и ненавидь их же за собственную твою зависть. Они хоть отлягнулись слегка от партии и правительства и напомнили этим придуркам, что у народа еще имеются копыта...

С такими вот мыслями я направился в партбюро. Но если, думаю, в партию они меня вдруг возжаждали затащить – упрусь. Благодарю и извиняюсь – не сумею. С политическим чутьем у меня беда. После такой сложной операции мне нужен санаторий, а не партсобрание...

В памяти моей навек, наверное, закрепился смрад подобных мероприятий. Примерно так воняют подолгу не убираемые на лестничной клетке пищевые отбросы для каких-то мифических поросят или портянки постового милиционера после целого дня службы в летнее время...

Строить коммунизм, товарищи, я вам подсоблю в меру сил и гражданской сознательности, но в авангарде трудящихся быть недостойн. Начальства и без меня хватает... Кроме того, я с детства боюсь партбилет потерять. Тетя Нана из нашей коммуналки посеяла где-то этот почетный документ и тут же тронулась. Лет пять ползала на карачках по коридору, по кухне и даже по двору – все искала потерянную святыню. Потом померла, а партбилет нашли ее наследники под буфетом, куда она сама его заложила от страха потерять. Завернут он был в бумажку, а на бумажке было написано рукою тети Наны: «Лежит под буфетом»... Без меня, давайте, без меня...

Заявляюсь в партбюро. Там сидят трое незнакомых мне лиц. Парторг НИИ, чувствуется, подналожил в брюки по неведомой мне причине. Все молчат. Уставились на меня – и молчат. Затем парторг вызывает моего Шефа и Котю.

Никак не могу сообразить, что к чему. Может, насчет спирта? Или кто-то тиснул донос, что слопали подопытную курицу? От зависти люди чумеют. А может, холодею от ужаса, курица та была облученной?... Но почему дергают одного меня, когда закусывали ею не меньше шести человек?... Начнут лечить или посадят?... Тут явились всполошенные Шеф и Котя.

– Партбилеты – на стол! – с бешенством крикнул им один из пришельцев.

Ноги у моей Коти подогнулись. Мне пришлось поддержать ее. Она полезла в сумочку за партбилетом.

– Не лучше ли сначала объясниться, – сказал Шеф. – Давайте без наскока. Вы разговариваете не со школярами. Я – член-корреспондент Академии наук СССР. Константина Олеговна Штопова – руководитель особо важного и актуального проекта, если вы в курсе дела...

– **Мы** в курсе всех дел. По чьей инициативе был положен на операцию стеклодув Штопов?

– Вы понимаете, что вы наделали?

– Вы отдаете себе отчет?

– Тратите миллионы черт знает на что...

– Втираете очки партии и государству...

– У вас под носом находилось **чудо природы**...

– Вы оперировали его и уничтожили, чем нанесли урон...

– Вы понимаете, что вы на-де-ла-ли?...

Когда пришельцы досыта наорались, выяснилась вот какая штука: в той самой клинике, где мне прижгли в мозгу гипертрофию нюха, шла борьба не на жизнь, а на смерть между двумя группировками. Одна из группировок сразу же после моей операции тиснула донос на другую. Так, мол, и так, в руках гудимовцев оказался феномен, который можно было использовать по назначению, поскольку нюх у него был мощней самой тонкой аналитической аппаратуры. При некоторых видах секретной деятельности он был бы незаменим. После операции, которую мы считаем вредительской и антинаучной, нос оперируемого можно выбросить на свалку. Нашей отечественной бионике и непосредственно КГБ и ГРУ нанесен непоправимый ущерб... привлечь к суду и ответственности... недостойны звания ученых, подобно отщепенцу Сахарову... просим лишить орденов и медалей с взысканием Государственных премий...

Все это дошло до меня после негромкого чтения некоторых документов, находившихся в зловеще-красной папке.

– А теперь давайте говорить без эмоций и строго по делу, – сказал Главный, судя по всему, пришелец. – Разумеется, все происшедшее – случайность, а не злой умысел. Мы понимаем, что с таким обонянием Сергеем Ивановичу было очень непросто жить и работать. Но вы-то? Вы ведь ученые, товарищи. Вы же обязаны были подумать о прикладных возможностях феноменального обоняния товарища Штопова. Мы покупаем дорогостоящую аппаратуру и электронные различители запахов. Мы используем лучшие наши разведкадры для проникновения в научные логова врага. Мы сократили капиталовложения в сельское хозяйство и промышленность группы «Б», с тем чтобы форсировать создание сверхчувствительных, так сказать, ищек и всевозможных детекторов, эффективно расшифровывающих трансформационную связь обоняния с мыслительным процессом, а вы... вы действительно уничтожили **чудо природы – живое чудо природы**. Это так же преступно, халатно и непоправимо, как не подумать об идее летательного аппарата, увидев крыло птицы. Не только не подумать, но и лишить птицу крыльев, возомнив, что крылья... крылья, товарищи, мешают птице ходить. Вы превратили орла в курицу, товарищи ученые...

Они там еще переругивались и откалякивались, признав, что прозевали феномен природы, а я сидел себе и почему-то думал о слопанной той самой курице, которая не дожидаясь до облучения и многонедельного наблюдения за развитием в ней лейкемии и за графиком выпадения перьев и пуха. Курицу несколько было не жалко. В жареной курице, обложенной маслинами и лимончиком, было что-то, думал я, драматическое и величественное, не говоря о полезном. Это у нас в стране населению не хватает куриц. На Западе же – чем больше их лопают, тем усиленной воспроизводят. Идет поддержка жизни на Земле вегетарианским и прочим способом. И не облучать надо куриц, но кушать и детишек растить на курином бульоне, а не на мучном отваре из-под фабричных пельменей...

– Сергей Иванович, – окликнул меня Главный. – **Мы** тут оперативно посовещались. Не беспокойтесь. Вас в любом случае не будем привлекать к ответственности, а вот вдохновивших вас на операцию по уничтожению чуда природы, объективно говоря, принадлежащего народу, непременно привлечем. Это будет конец их карьеры, если мы все вместе не примем быстрых восстановительных мер. Политбюро дало «добро» на их принятие, не считаясь с затратами на вызов из Швейцарии, Израиля и США виднейших нейрохирургов и прочей шатии-братии. Дело за вами. Вы, конечно, не понимаете и не понимали, какой заложен в вас потенциал исследовательских возможностей. **Мы** объясним вам это в ближайшие часы. Правда ли, что, прочитав, скажем, чье-либо письмо, вы со стопроцентной точностью можете определить по запаху или по чему-то там еще, лжец автор или же не лжец?

– Запах имеется у всего на свете, – отвечаю уклончиво. – Есть даже запашок отсутствия запаха...

– Могли вы до этой трагической операции определить характер и некоторые другие параметры личности только по источаемому личностью этой запаху?

– Определяют же, – говорю, – собаки, кошки и даже растения...

Котя с мольбой смотрела на меня. С Шефа же как бы слиняла обычная его вельможная самоуверенность. Он постарел у меня на глазах – до того чего-то перетрухнул.

– Ну почему, почему вы, Сергей Иванович, не обратились к **нам**, когда заметили у себя необычную способность, отличающую вас от остальных советских людей? Почему? – с душевной сокрушенностью спросил Главный.

– К кому «**нам**»? – переспросил я, хотя сомнений никаких не могло быть, что за учреждение подразумевалось.

– В Комитет... в Комитет, Сережа, – поспешила подсказать Котя.

Я засмеялся.

– Ничего смешного тут нет, Сергей Иванович. Мы теперь выясняем с самого раннего детства всех людей с парапсихологическими дарованиями. Прошли времена мракобесия, когда даже теория относительности считалась черт знает чем. Если бы не мракобесы от науки, мы бы имели, возможно, ядерное оружие раньше Штатов...

– Абсолютно точно, – поддакнул наш парторг, похожий на облученную курицу.

– Не надо **нас** бояться по обывательской и диссидентской привычке, – продолжал Главный. – К **нам** вот пришел недавно молодой человек. Извините, говорит, можете судить меня. Я уже неоднократно притягивал к себе на расстоянии челюсти с золотыми и платиновыми зубами из ртов зазевавшихся номенклатурных работников в санатории «Барвиха», где работаю официантом. Судите меня, но дайте пойти впоследствии по более высокой линии использования природных способностей. Мы его не судили, и он пошел. Очень далеко пошел. Со временем о нем напишут книги и поставят фильмы. Так же, как и о вас, Сергей Иванович...

– Я-то при чем? С моим нюхом покончено, отчего мне жить стало легче, как сказал товарищ Сталин, жить стало веселее. Проглядели. Талантов, говорю, вообще на каждом шагу – как мух, и гибнут они как мухи, хотя некоторые выживают в борьбе с настоящей действительностью. Сегодня – я пропал. Завтра – другой чуткий товарищ выщется. Нужен поиск и благородные перспективы использования таланта...

– Вот этот разговор **нам** очень нравится. Давайте решимся перейти от слов к делу. **Мы** от имени нашей партии и государства просим вас, Сергей Иванович, лечь... на этот раз – на реставрационный стол, а не... – Тут Главный скрежетнул зубами, и все прищельцы так посмотрели на Шефа, Котю и парторга, что я начал истерически хохотать и от их вида, и вообще от всей этой невероятной ситуации. Жена смущенно подбежала ко мне и зашептала: «Соглашайся... это твой звездный час... иначе все накроется сам знаешь чем... меня, действительно, надо расстрелять за отсутствие интуиции, а ты... ты – просто сволочь и думал все время о себе... ты тайком хоронил свой талант, вместо того чтобы...»

Тут она разрыдалась. Остальные не мешали нашей семейной сцене развиваться своим чередом. Слез жены я не выносил. В памяти вмиг ожил остро разящий запах бесцветного этого яда. Я обнял Котю и заверил, что сделаю все... все... лягу... отдамся в руки этих паразитов... только не плачь... все будет хорошо... ты поедешь в Женеву... купим «жигуля»... успокойся...

Сам думаю: что же это, действительно, не пришло мне сразу в голову приложить как-то способность либо к гуманному направлению в науке, либо к публичной эстраде? Даже странно... А на эстраде я был бы кум королю. Принимаюсь с завязанными глазами к какой-нибудь даме и говорю, брала она деньги в долг до полочки или не брала, потому что неимущие люди, взявшие в долг до полочки, сами того не подозревая, источают из всех своих пор такой жалостный и тоскливый запах, что я, бывало, проявлял ясновидение и успокаивал, как мог, унывающего должника... Профессии угадывал бы вплоть до шпионской... шпион может замаскироваться на много лет и даже забыть, что он шпион, а вот запах его выдаст... запах у шпиона вырабатывается бессознательной настороженностью, и перешибить его невозможно ничем – нет в природе такого камуфляжного вещества...

Я думаю об этих легкомысленных пустяках, а присутствующие полагают, что я обдумываю условия, на которых соглашусь залечь на повторное вмешательство в свой мозг и дальнейшие материальные планы.

– Сергей Иванович, – сказал Главный, – можете **нам** поверить: в случае удачи – удачи вашей и всей **нашей** науки – забот у вас и у Константины Олеговны не будет никаких. Вы ни в чем не будете лимитированы. Возможны даже выезды в страны народной демократии.

– А если, – говорю, – ничего во мне не восстановят или, скажем, я не соглашусь оперироваться? Все же это не в аппендиксе колупаться, а в мозгу. Что-нибудь не так заденут наши коновалы – и начнешь всю остальную жизнь мычать и пускать бессмысленные слюни. Встречал я таких оперированных...

– Насчет коновалов вы очень тонко выразились. Мы решительно пресекли деятельность очередной такой группы, халатно нарушившей работу вашего замечательного обоняния. Группа же, написавшая апостериорную жалобу, а не априорный донос, разогнана и сформирована заново. Партия учит ставить в известность ее и **нас** вовремя и обо всем. Теперь – насчет первых двух вопросов: я думаю, что вы как советский человек не откажетесь лечь в клинику по **нашей** просьбе. Если талант ваш не будет восстановлен – установим вам персональную пенсию и назначим консультантом в отдел гиперсенсорики. Кстати, самому-то вам, Сергей Иванович дорогой, не приходило в голову звякнуть **нам** и поделиться? Вы же клад в себе носили с подлинно национальными сокровищами...

– Вы себе не представляете, какой он скромный и даже ненавидящий сам себя человек, – вмешалась Котя.

– Что теперь говорить? **Мы** тоже зевнули. Чересчур разбрасываемся в работе, а у себя под носом проглядели самородка, который давно мог бы за пояс заткнуть этого... израильского телекинетика Ури Гиллера. Он уже черт знает чего понавыкопал из-под земли трестам и монополиям. Просто землю носом роет, разведывает стратегически важные полезные ископаемые... Одним словом, по рукам, Сергей Иванович?

– Хорошо, – сказал я, пожалев, что такой я есть идиотина, тяготившийся природным талантом, вместо того чтобы употребить его в деле полезного развлечения народа. Меня отпустили. Разрешили уйти с работы и ни о чем не беспокоиться – за мной в свой час приедет спецмашина.

До приезда ее я возненавидел себя еще пуще как жалкое, ничемное, туповатое создание природы, вызванное к лишней жизни слепым постельным случаем. Ведь действительно волосы могли встать дыбом – и вставали, вставали не раз, когда представлял я, что не нос я ворочу от тяжелой реальной жизни, закапывая его талант в укромную конуру брачной жизни, халтуры, дачных заботишек и прочего мещанства, а использую обе его ноздри совместно с брезгливой носоглоткой для трагической борьбы с людскими пороками... Учуживать за три версты ложь, помышление убийства, страсть воровства, насилия и прочей многочисленной мерзопакости, именуемой издавна грехом. Да я бы, думаю, учебник выпустил типа «Умелый нос», хоть и звучит это немного шутливо... Хватит, дорогие люди, сказал бы я в нем, бесчувственно наблюдать друг за другом или враждебно думать друг о друге. Давайте уйдем ложную гордыню венцов создания, но уподобимся с душевной простотой благородным собакам и прочим не очень-то доверяющим самонадеянному уму животным... Что-то нету у нас с вами исторического толку в обдумывании... Давайте-ка, хотя бы в порядке отчаянного эксперимента, обнюхаемся, преодолевая взаимную ненависть и отвращение, а главное – лукавое смущение. Давайте скажем себе: не пахни тем, чего сам ты на нюх не выносишь. Давайте гордиться не тем, что научены мы бороться с запахом натруженных конечностей и ни в чем не повинных подмышек, не тем, что, дошедши до высоконравственности, мужественно воздерживаемся от порчи воздуха в музеях, в кино, а особенно в телефонных будках, но попробуем изумиться иной, похеренной нами столь беззаботно тысячу лет назад, но вновь возрожденной волшебной способности. Эта способность называется, господа, умением взаимно предотвращать не только действия, но и мысли, вызывающие резкое помутнение и отравление воздуха нашего существования. Потому что тайная мысль еще может понадеяться не стать явной, поделившейся своей черной надеждой с доверчивым действием, но запаха, неизбежно выделяемого дурной мыслью, не утаить. Мы пахнем, господа, но, видимо, продолжаем считать своей дерзкой, титанической целью совершенство-

вание способов убивания дара учуивания своих и чужих распоясавшихся миазмов поведения, постыдной ядовитости неумного сладострастия, трупного зловония родного языка, умерщвляемого партийными и литературными кровососами, и прочей бездарной тлетворности. Умом весьма недействительно, как оказалось, подавляем мы в себе всю свою скверну. С душою и с Духом многие вообще перестали считаться, охотно усвоив внушение того, что ни Духа, ни души не существует. Так может, господа, действительно принимаемся и эффективно побрезгуем? Может, начнем натаскивать одно, целиком взятое поколение новых людей человеческому чутью на непотребное?

Далее в своих размышлениях я изобрел способы возрождения в воспитанниках родителей и общества потерянной всеми нами благодатной способности. В безгласных своих обращениях и воплях я намеренно избегал слова «товарищи». От словечка этого, узкопартийного, кодлового и затасканного советской властью с похабной казенной целью, меня продолжало выворачивать даже после удачной операции.

А если не восстановят во мне убитого... трижды убитого лично мною дара... все равно сочиню я такой учебник.

Сочиню, думал я, чтобы хоть сколько-нибудь оправдаться за легкомысленную расправу со всем чудесным в моем существе. Сочиню, даже если никто мне не поверит, даже если сочтут меня безумцем и презрительно харкнут в мою сторону за бездоказательные утверждения и неспособность подкрепить примерным чудом высокоморальные измышления...

О, как страстно взалкал я тогда возвращения мне всего того, что пожелал я с легкомысленной гадливостью утратить – убитого своими руками дара. Верующим никогда не был, но пал однажды в полном одиночестве на колени и с крайней тоскою, с последней надеждой, с общей сокрушенностью, с ужасом перед совершенным мною, со страстью искупления вины любым наказанием взмолился: «Помоги, Господи... прости. Господи... прости... помоги... помоги или сотри меня с земного порога...»

На работу не выхожу. Жду. Привожу в порядок настроение и мысли. Пытаюсь обострить в домашних условиях кустарным, так сказать, способом работу обоняния. Пытаюсь с поистине детской наивностью и упрямством воскресить бездыханную способность. К чему только не прибегал. Передачу «Ленинский университет миллионов» от начала до конца прослушивал. За газетами стоял в очереди, накопал их – от «Водного транспорта» до «Правды» – и вычитывал с первой до последней строки. Одолеl «Программу КПСС». Посетил красный уголок ЖЭКа, где меня однажды на собрании жильцов адски мутило от коммунального смрада, разьеvшего вконец личное достоинство каждого... Много еще чего делал прежде невыносимого, от которого спасался как мог, бежал куда глаза глядят и отвлекался чем попало. Никакого эффекта. Смысл непотребного воспринимаю, но полностью или частично равнодушествую. Поддаюсь, например, газетной логике, внушающей, что трагедия Афганистана непременно пойдет ему на социальную пользу и прочие благоденственные перспективы, если мы поможем прогрессивным силам народа обезглавить гидру бандитизма... Это же – **ад**, думаю, это же и есть **ад**, натуральный, тихий, советский наш **ад**, где всех нас давно уже приучили не только прижиться, но и перейти на активное самообслуживание по части поддержки адского огонька – синего пламечка под самими нами, – ввиду переброса огромного количества бесовского персонала на шпионскую и партийную работу в странах Азии, Африки и Европы...

До операции, бывало, волю всю свою собираю в кулак перед выходом на улицу. Захватываю с собой корку лимончика в автобус или троллейбус, чтобы занюхать в критический момент истекающую от толпы многообразную вонь. Уши, разумеется, затыкаю, отшибая от себя словесную приправу к толпе и ее поведению, всегда приводившему меня в недоумение и ужас. Особенно остерегался очередей. Предпочитал переплатить за мясо и овощишки

на безбожно дорогом рынке, но не помещать себя в людскую ливерную колбасу в качестве добавка, изнемогающего от приобщения к тухлой общей массе... Но что говорить о почти равнодушном приятии всего безобразного после самоизуродования, когда к прекрасному, благостно волновавшему меня прежде и хоть как-то примирявшему нюх, ум и душу с совершенным ужасом советского существования – ибо не превышал он, как бы то ни было, даже малоприметных чудес Творения – я стал относиться не с былою тихой радостью и благодарным восторгом, но с усталостью и тоской... Что говорить?...

Зашел один раз, тоскуя по утраченному, в гнусноватую забегаловку, куда даже дружинникам заходить неохота – такой беспросветно унылый идет там залив жизни в рамках нарушения общественного порядка. Зашел. Постоял в очереди к автомату среди людей, сжимающих в кулак монетки и жетончики – так детки сжимают в кулачках жалкие праздничные леденцы и прянички, – постоял и содрогнулся от некоего опустошающего душу чувства никчемности автоматического прогресса. Что удовлетворяет расчетливый и премиальный сам по себе механизм в наших существах? Что разрешает? Какое в нем есть живое превосходство над краснорылой, пышущей беспричинным хамством буфетчицей Дунькой? Вино разбавить можно водой и в автомате, но с Дунькой человека несколько роднила общая природа всех человеческих недостатков, когда то робко, то с немыслимо жалким в такой вот ситуации подобострастием, то с яростно сдерживаемым социальным гневом просил он и порою требовал долива пива после отстоя пены. А автомат?... Даже расколоти ты об него пустые свои кулаки, когда в ответ на проглоченные монетки не выдавит он из себя ни капли спасительной узбекской бурды, лоб разбей с отчаяния о бездушествующую его облицовку и отправься затем с сопливой и окровавленной сопаткой в отделение – бывали такие случаи в забегаловке, – но не ощутишь ты ничего, кроме ужасающе механического презрительного молчания, по сравнению с которым Дунькино плебейское высокомерие, Дунькина наглость и привычно гунявое Дунькино хамство вдруг покажутся тебе моментом прямо-таки обнадеживающим и убажвающим своей натуральностью...

Стою, одним словом, в очереди и проникновенно думаю: печальные мы рабы всего содеянного технической нашей и социальной фантазией... бедные, обездушенные существа, униженно выстроившиеся в тоске по жизненному возбуждению перед автопоилкой, ссылающей «Хирсой»... До операции я бы через пять минут рухнул в обморок от невыносимого для глаз моих образа народной жизни, задрызганного полусивушной жижей и захаванного жуликоватыми бутербродиками с резиновым сыром да с выжаренной в касторке килькой. А так стою – и движусь за парой стакашков, растворенный до полной неразличимости в составе толпы, но не разделяющий ее самочувствия, не дышащий ее бессмертными заботами и не набирающийся от нее животной энергии жить, сопротивляясь оскорбительному похмелью... Беда... Предельное одиночество... Задыхаясь от какого-то странного удушья, готов я был броситься на усыпанный грязными опилками пол, ткнуться покаянным лбом во все это плюгавство и отчаянное безобразие и возопить: «Люди, простите за самоотстранение от течения общей жизни, дайте почуять хотя бы пакость брожения опилок пола, загаженных и залитых „Хирсой“ и пивом... свяжите меня с собою хотя бы малопочтительной отрыжкой и оскорбительной репликой... не оставляйте в бездонной пустоте и в чувстве вечной недостижимости...»

Состояние такое должен был бы испытывать, на мой взгляд, космолетчик, вышедший в нетрезвом виде на работу в космос, но ужаснувшийся через некоторое время тому, что трос-то блокировочный забыл он прицепить к летящей основе, и теперь вот чокающийся от двух ясных чувств – чувства ненависти к себе за поистине непростительную халатность и чувства невозвратимости. Он, как и я, превратился в опознанный летающий – в моем случае в расхаживающий и стоящий – объект. Никому, к слову сказать, не пожелаю превратиться вдруг из всесовершенного в некотором биологическом смысле субъекта – со всеми его пере-

живаниями, болями, унижениями и умопомрачительными перипетиями судьбы – в оторванный от общего организма объект. Не желаю... Жажнул я «Хирсы». Потолкался. Повнимал со стороны разным речам опустившихся и движущихся к унылому распаду людей. Помусолил локти о пластмассовый стол, передал свой стакан покорно ожидавшему его человеку – стаканов у нас вечно не хватает – и двинулся, в неразличимом для глаз народа виде, домой...

В этот вечер Котя пришла домой рано. Была очень расстроена непредвиденно возникшей служебной интригой. Сообщила, что у соседней лаборатории сопли задымились от зависти. Сволочи на всех парах бросились перебивать Котину Государственную премию, усиленные пайки, ордена и прочую благодарность партии и правительства с генералами за выведение блохи «Надежда Афганщины – Х6/Ф7», натасканной на специфически басмаческий душок, но не желающей кусать плоть наших солдат и офицеров, выполняющих в трудных условиях интернациональный долг. Интрига пошла беспринципная, как и положено ей быть в советском закрытом НИИ. «Они, – сказала Котя, – не брезгают ничем. Обвинили нас в расхищении государственных средств на проведение средневековыми методами современных экспериментальных исследований. Афганцы, видите ли, обходятся НИИ намного дороже афганских домашних животных – кошек, собак, баранов и верблюдов. Кроме того, эти сволочи якобы доказали, что облучение блохи можно проводить на кошме, где она живет, чудесно разводится и питается неизвестно чем, пока на нее не сядут или не лягут. А нашим же, – сказала Котя с горечью, – плевать на науку. Им подавай экономию, если ею запахло. Начались звонки из ЦК. Мне вымотали душу совещаниями и вызовами в партбюро. К тому же твоя история здорово мне подгадила. Сволочи и интриганы почуяли слабинку. Боровцев ведь маму родную слопаёт за лишние сто грамм черной икорки, пакость такая вонючая... Но я выступила на планерке – там были представители ГРУ и еще какие-то шишки в штатском – и долбанула по Боровцеву так, что он не скоро очухается. Что же мы, товарищи, сказала я, отвлекаем целый прогрессивный коллектив от работы и не распознаем гнило-либеральной, направляемой, сами знаете кем, сущности аргументов Боровцева? Неужели не чувствуете ограниченности и близорукости его интуиции? Ведь, борясь за замену живых объектов изучения, то есть пленных бандитов и врагов своего народа, он и его сподвижники не учитывают того, что после успешных испытаний „НА – Х6/Ф7“ мы перебросим контингент подопытных в „газировку“ – так мы зовем лабораторию отравляющих веществ, – продлевая тем самым жизнь подопытного материала процентов на тридцать, если не больше... Ну, генералы мне заплодировали, цекисты стушевались – они же, в сущности, трепачи и демагоги, – а я была на коне. Даже выбила кое-какую швейцарскую аппаратуру, пока они там не пронюхали о наших исследованиях и не наложили эмбарго. Не думаю, что Боровцев и его шобла сдадутся так просто. От них можно ожидать даже диверсий. Ты знаешь, что кто-то подсунил в самые дорогие наши штаммы кал морских свинок и комки бытовой пыли?... Одним словом, – сказала Котя, – я была вынуждена вынести из лаборатории запасную популяцию „Надежды“. Пусть живет и кишит в твоём аквариуме до лучших времен. Недели две попитается куском верблюжьей кошмы, а там – разберемся. Наше дело правое – победа будет за нами. Давай сходим на Красную. После всей этой говенной каши, после сволочных интриг и взаимоподъедаловки так и тянет на что-нибудь духовное...»

Я вяло отреагировал на все это выступление. На духовное, говорю, так на духовное. Пойдем погуляем по эпицентру нашей планеты, как говорят по радио и телевидению...

Приходим. Мурлычу про себя «был день осенний, и листья грустно опадали...». Смотрю безо всякого зрительного аппетита на Василия Блаженного. Разложить бы сейчас, подумываю вяловато, на Лобном месте скатерочку-самобраночку, сесть, как на гурзуфской скале, выпить, закусить, понежиться под мерцающими созвездиями сентября, чтобы покоярибывали твои зрачки голубые небесные искорки, – и провалитесь вы все пропадом со своей наукой, международным положением, блохами, афганцами, нефтью, террором, покупной

кукурузой и борьбой за мир... про-ва-ли-тесь... Все равно нет жизни на Земле, а наличествует повсюду обворожительная и коварствующая фикция прогресса.

Котя же уставилась, как всегда, на военную игру в смену караула у разверстого для поглощения идолопоклонников-трупюлюбителей входа в трупохранилище №1. Уставилась, и не оторвешь ее от оловянно-остолопского зрелища. Чекают, как говорится, шаг кремлевские солдаты во главе с очумевающим от своей значительности разводящим. На рылах у них у всех – соловогоглазая остолбенелость. Руки их и ноги, не говоря уж о туловищах, напоминают чем-то унижительную для любого живого существа отдрессированность цирковых – гордых и диких некогда – бедных дегенератов. Механические движения. Общая отутюженность. По-покойнически отрешенная от мира и людской деятельности вздернутость подбородков... заостренность носов... полуприкрытость век – служивые трупы шагают охранять незахороненного мертвеца...

Раньше я всегда этого не выдерживал. Отходил подальше к ГУМу и там поджидал свою нестареющую пионерку. Вид лица ее, замороженного мертвецкой игрою одеревеневших солдат, и тот факт, что тупую пошлость заученных механических движений солдатских тел считала она таинством и красотой, – все это было совершенно невыносимо. Военно-бюрократический смрад площадного зрелища преследовал даже перед сном, потому что воспоминание о нем не сразу покидало Котино воображение. Выражение ее глаз тихо бесило меня остаточной причастностью к «воинской поэзии», как она выражалась, а не подбадривало страстным вниманием ко всему происходившему между нами в брачной постели...

Может, завтра мне снова на операцию ложиться, а Котя всматривается в кремлевских роботов так, словно видит их в первый раз и не может – просто не может не поверить, что это – вовсе не чудо, но доступная всем очаровательная действительность... «Пошли», – злобно одернул я ее, потому что было мне смертельно скучно. «Уж не ревнуешь ли?» – спросила Котя. Я не унился до ответа, но презирал и ненавидел себя за то, что впервые внимательно наблюдал за безумно тупыми движениями солдатских суставов, за безукоризненной сдержанностью и временной омертвелостью лицевых солдатских мышц... Впервые же ушел спать на балкон. Вонь городской жизни меня больше не отвращала...

Назавтра мне позвонили и сказали так: «Извините, Сергей Иванович, но в связи с борьбой за дальнейшую экономию, начатую Михаилом Сергеевичем, вам придется доехать до **нашего хозяйства** на общественном транспорте. Ждем вас к тринадцати часам. Будем рады услышать ваши впечатления о развернувшейся в стране борьбе за повсеместную вежливость...»

Никакой не почуял тошноты от этого уродского разговорчика. Собрался. Не оставил Коте записку с разной амурной размазней, чего раньше со мной никогда не случалось. Не помню: поел ли?... побрился ли?... о чем думал?... Мне было все равно... провалитесь все к чертовой матери... мне теперь все равно...

В палату я попал не сразу. Тот самый гэбэшный чин со своим помощником попросил меня прочитать какие-то протоколы и подписать их. Это были мои свидетельские показания, заранее кем-то сочиненные. В них я ни на кого ничего не наговаривал, но подтверждал, что операцию перенес под ножом таких-то нейроспециалистов... Психологическими проблемами моего феноменального обоняния и анализом многочисленных его ассоциативных связей с другими основными чувствами никто не занимался. Прооперирован по собственному желанию... Низкий уровень образования помешал мне обнаружить... Идя на повторную операцию, благодарю **соответствующие органы** за огромную заботу о человеческом таланте, принадлежащем народу, и надеюсь поставить его на службу миру и социальному прогрессу...

Затем была устроена контрольная предоперационная проверка состояния рецепторов слизистой оболочки моего носа. Я, как и следовало ожидать, не мог учуять с завязанными

глазами запахов различных веществ и предметов, хотя к ноздрям моим бестрепетным подносили – это я потом уж узнал в виде их анекдота – кошачий кал, духи «Шанель №5», сыр «рокфор», трусики научной сотрудницы, нефть, золото, кусочек урана, скунсовую эссенцию, бумажные и металлические деньги, фрукты, овощи, коньяк и самогон. Я на все это никак не реагировал, но почему-то особенно долго принюхивался к кошачьему калу. После экспертизы на «идентификацию запахов» меня ввели в комнату, в которой сидели человек семь мужчин и женщин. Сидели они рядом, на одной длинной скамье, как сидят в очереди к врачу или к участковому. Главный попросил меня подойти, внимательно обнюхать каждого и каждую и попробовать охарактеризовать «параметры их личностей».

Все эти люди были для меня на одно лицо, хотя до операции я, безусловно, смог бы определить, являются ли, скажем, гражданка в джинсах или гражданин в темных очках убийцами или шпионами, а вот тот цурик в жилетке – страстным коллекционером или преснозадным бухгалтером?... Шпионы, повторяю, ежесекундно источают из себя некий душок бессознательной, как говорят в народе, бздиловатости, учуять который неспособно ни высшее начальство шпиона, ни близкие его родственники, хоть пролежи они с ним под одеялом десять суток. Любой профессиональный вор, типа вокзальной буфетчицы, тоже неумолкающе пахнет, но в отличие от шпиона или убийцы как бы принюхивается к себе с большим удовольствием и уважением...

Поглядел я, тоскливо задумавшись, на сидевших передо мною людей, поглядел на них туповато, отошел вдруг в угол, под портрет Андропова, и затрясся – заплакал от сожаления. Не смог удержаться. Убийца дара должен терпеть адские муки от невозможности вновь овладеть им, вновь им воспользоваться для добрых целей, а не для **мира и социального** прогресса, в **их** понимании... Я ведь не мог не сообразить, несмотря на полное отупение злосчастной своей сопатки, что **они** неспроста привели сюда всех этих людей. Кто-то из них наверняка был на подозрении либо в чем-нибудь обвинялся. Зрительная моя наблюдательность всегда была притуплена из-за крайней обостренности наблюдательности обонятельной, но, глядя на «**идентифицируемых**», даже слепой – дотронься он кончиками пальцев до их лиц – просек бы напярк страха, ненависти, обреченности, страстной попытки камуфляжа, бешеного вызова своим тюремщикам и особенного такого ужаса – ужаса перед мрачной массой, – ожидающего кого-то из этих людей будущего времени тюрьмы...

– Ну, будет, будет, Сергей Иванович, убивать себя самокритикой, – сказал мне Главный. – **Мы**, надеюсь, еще вернемся к этой экспертизе, когда будете вы во всеоружии. Вернемся. **Мы** верим в вас...

С другой стороны, подумал я в тот момент, как бы я выкручивался? Как бы свидетельствовал? Как бы выдержал смертельно опасную игру с **ними** в прятки? Пошел бы на риск сокрытия учуянного мною под страхом возможного разоблачения и, естественно, пожизненной разлуки с любимой женой, в объятиях которой я столько лет спасался от общества людей и уродств современной действительности? А?... Талант, Сергей Иванович, не хрен собачий... В нем на семьдесят пять процентов опасности, на двадцать четыре процента – суровой ответственности и на один лишь процентишко – захватывающего удовольствия... С талантом – очень не просто. Но без таланта, надо это признать, и особенно в советские, дароубийственные времена, – гораздо сподручнее слиться с гонимой куда-то толпой, гораздо легчемысленней существовать и гораздо веселее тасоваться при любом раскладе «подкидного дурачка» нашей жизни... Может, думаю, лежа уже в палате, все к лучшему в судьбе, потому что стоит только душевно согласиться с тем, что все к худшему, то жить вообще нелепо... Зачем биться лбом о расprostертую перед сердцем твоим безнадежность?... Может, талант – есть на самом деле отягчающее уродство и безмерное сумасшествие?... Что было бы с миллионами моих сограждан, если бы вдруг они учуяли разом, словно по повелению свыше, мелкое мертвенно-тлетворное исчадие и бурное, продолжительное, всепобеждающее зло-

воние советской власти? Выброситься всем вместе и разом же, как выбрасываются киты из пучин океана, улечься в бездыханном состоянии на Красной, скажем, площади?... Или переть к ней до последнего гражданина, пока кремлевский караул будет косить нас калашниковскими очередями и превращать танками в котлеты?... Если бы, Сергей Иванович, все реагировали на кошмарную действительность и гниение человеческого образа, как ты прежде реагировал, то в силах ли была бы жизнь потакнуть всем возвышенным запросам народа и своенравно-капризной требовательности отдельных частных лиц? Сие неведомо, и попробуй разберись в умственных прикидываниях: как легче, удобней и беспрепятственней шнуроваться? В предельно суженном состоянии или в ежедневном испытании толпой людей и властью твоей силы жить, терпеть и возноситься над кишющими повсюду гадами и засасывающим повсеместно гадством?... Словечки какие, думаю, начал употреблять без обычного брезгования... И провалитесь вы все пропадом... я лучше посплю, а судьба, очевидно, не заставит себя ждать и подкинет вместо умствований чего-нибудь действительно вызывающее тебя к ответу на любой острый вопрос...

Все вдруг действительно провалилось куда-то. Провалилось так мгновенно, что я даже не успел проникнуться страхом, который проникает в нас не только непосредственно перед падением в некие бездны, но и от предчувствия этого падения... Провалился...

Прочухиваюсь впоследствии, словно выклеываюсь на свет Божий из скорлупы тишины, темноты и бесчувствия. Скоро вылупываюсь, так сказать. Не вижу еще ничего, не слышу, но охотно унюхиваю печаль и химию больничной палаты. Унюхиваю, открываю глаза, на них набегает детская восторженная слеза, а сердчишко разрывает детская же и бесстрашная радость очередного пробуждения к жизни, частичная невыносимость которой так удручает повидавших виды взрослых людей на вынужденном рассвете... Тяну в себя больничного ерша – хлорка, йод, тоска повязок и простынок, помалкивающий хлад стен и медоборудования... Хорошо... В желудке теплеет... Хмелеет мозг от веселия и беспричинной надежды... Руки-ноги замирают от счастья предчувствия множества бытовых движений и бессмысленных действий... Подношу изгиб руки своей в локте к носу и учуиваю впервые за много недель родной свой запах, от которого сердце человека переполняет временами такая пронзительная и жалостная любовь к самому себе, что ему от такого откровенного чувства гораздо легче справляться с предельным одиночеством и очень... очень... очень жестокой жизнью... Живем, Сергей Иванович, живем и дышим обеими ноздрями... Правда, башка у меня потрескивала слегка, а под повязкой потягивало кожу и саднило... Нащупал на себе несколько датчиков... Назначение их полностью было мне понятно... Первой была следующая мысль... Воспроизвожу ее с максимальной точностью, нисколько не удивляясь необычному для меня словесному ее оформлению... Необходимо, подумал я с необыкновенной и как бы выстраданной решительностью, набатать **и их и** всю **ихнюю** ученую шарашку... я вам покажу, проказа и подонки, что значит талантливо принадлежать народу ради **вашего мира и вашего прогресса**... я вам послужу... Поросячий член вам в зубы, а не личную мою парапсихологию... так-то вот... Необычное, повторяю, нецензурное словесное оформление мыслей несколько меня обеспокоило, но я довольно доверчиво отнес его к прихоти своей памяти и к самовластью воспрянувшей воли...

Когда пришли товарищи в белых халатах, я смотрел на них, чистосердечно и юродиво улыбаясь. С уголков губ моих – это доставляло мне ни с чем не сравнимое удовольствие и нужное для жизни чувство колобковой лукавости – стекали слюни бессмысленной очарованности служебным персоналом и вообще явлением мира.

Главный, отстранив всех остальных, приблизился ко мне. Присел бочком на мою коечку, как подсаживаются обнадеженно сопереживающие близкие люди. Сдерживая спортивный азарт, который старался выдать за родственное волнение, сказал:

– Ну что, Сергей Иваныч? Доброе утро. Как самочувствуем?

– Солнце... бабочки... простокваша... – ответил я, пошлямкивая немного губами для пущей юродивости.

– Пояснить, – приказал Главный, обращаясь к ученым.

– Пока трудно сделать заключение...

– Возможно – послеоперационное нарушение речи...

– Либо – постанестезионный бред...

– Ты меня видишь, Сергей Иванович?... Давай уж на «ты»... Я из-за тебя вторые сутки не сплю... Ну как ты?

– Каша манная... домой... заводная корова хорошо люблю писать горшок утром мама... – выпалил я, продолжая улыбаться и пускать слюни. – Голова... резать... арбуз...

– Довольно ясно прослеживаемые ассоциации с нейрохирургией, – пояснил кто-то.

– Мы предупреждали вас о неизбежности риска...

– Необходимо дать больному покой и понаблюдать за показаниями приборов, – перевел один из белых халатов высказывания иностранных, как я понял, специалистов.

– Они будут наблюдать за этим идиотом, а страна – выкладывай **им** в карманы валюту?... Этого не переводить... Сколько они нацелились наблюдать? У нас нет времени... наблюдатели ебаные... напортачили, понимаете, а теперь будут наблюдать за подложенной нашей стране кучей... этого тоже не переводить... Есть ли надежда, одним словом?

– Олвиз, – ответил один специалист, после чего иностранцы отстранили Главного с моей коечки. Переводчик перевел при этом откровенно неприязненную и грубую фразу симпатичного старикана, говорившего с каким-то странным акцентом – еврейским и кавказским одновременно.

– Мы попросили бы избавить нас в ответственный послеоперационный период от некомпетентного вмешательства лиц, далеких от науки. Это оговорено в контракте...

– Скажи этой сволочи и торговцу гуманной профессией, что он вместе с остальными бандитами, содрав с нас фантастические деньги, в долларах, превратил человека в дебила... в мычащего, так сказать, раздолбая... впрочем, не переводить... все равно правильно не переведешь... у них разве есть такие понятия, как у нас?... Спроси, сколько суток понадобится для окончательного заключения?

– Ровно столько, сколько понадобится, – перевел переводчик.

– Мог бы скорректировать его грубость... говно ты, а не переводило... спроси, чем **мы** можем быть полезны в такой ситуации?

Иностранец что-то очень резко ответил. Переводчик, подумав, перевел:

– Лучше бы обследовать оперированного без основных заинтересованных лиц...

– Врешь. Уверен, что этот Моня послал меня к ебени матери. Они **нас** не любят. И правильно делают. Правильно то, что не любят, а не то, что посылают... Ну что, Сергей?... Серега ты наш... залечили тебя в сосиску сионисты, швейцарская сволочь и английская профурсетия?... Воспрянул бы ты, Сергей... Не дай маху... и тебе хорошо будет, и **нам**... Что скажешь?

– Жена пюре пиво хорош Спартак... хочу... хочу... сосиска... правильно...

– Товарищ генерал, улавливаю логическую связь, несмотря на разрыв мышления и речи...

– Выкладывай. Утри нос этим платным живоглотам.

– Больной высказывается в том смысле, что не прочь вместе с женой выпить пивка, съесть сосиску с пюре и хорошо бы затем посмотреть футбол по телевизору...

Я кивнул и еще шире улыбнулся. Главный сразу повеселел.

– Ты давай, Серега, поднимайся... шевели мозгами всем смертям назло... я тебе персональный билет устрою в «Лужники» до конца твоих дней... **наше** слово – закон... Запахи-то улавливаешь?... Извини – я тут погорячился...

- Утро... выпить... жена жена жена... вечер... пылесос... тихо...
- Я бы и сам, Серый ты мой, с утра жажнул «Мартеля», потом – жена... жена... жена... три раза... правильно тебя понял?
- Я снова кивнул.
- Вот видишь? Ебать мы с тобой хотели зарубежную медицину. Верно?
- Я помотал головой, давая понять, что не следует делать этого... никогда...
- Лежи, Серега, и ни о чем не беспокойся. Как отключим тебя от приборов, так жену твою вызовем прямо сюда... ты у нас – Брумель по части... ха-ха... половухи... Идет?
- Грхрррррр-ы-ы, – захрипел я сладострастно.
- Переведи сволочам, что дело пошло на поправку. Так и быть – **мы** им очень благодарны. Сами справимся?... Не «надеемся» надо отвечать, а «уверены, товарищ генерал». Нечего им тут крутиться вокруг наших исследований. Пусть едут. И пусть скажут спасибо за то, что вообще едут... этого не переводит...
- Переводчик перевел. Зарубежные деятели ответили:
- Мы настаиваем на предоставлении нам возможности наблюдать за оперированным в течение хотя бы трех дней.
- В интересах дела – провести курс психонейротерапии.
- Наш метод тестирования психики и постановки перед больным психологических задач гораздо прогрессивней вашего...
- Во-первых, не переводит им, что зато мы – в Афганистане, в Сирии, в Ливии, в Никарагуа и еще кое-где, не говоря о ядерном кулаке. Переведи, разрешаем наблюдать в течение двух дней. О результатах докладывать непосредственно мне. Здесь не Швейцария и не Иерусалим с Лондоном. У нас свои порядки даже для нейрохирургии. Наука остается надстройкой, а не частной финансовой конторой. Все переводы побуквенно. У меня интуиция есть, что встанет Сергей Иванович и заработает... Ну-ка, Серый, понюхай, чем палец мой пахнет?
- Дым... дым-м-м, – промычал я.
- Умница, Серый! – вскричал радостно генерал. – Пусть посмотрят мировые светила, как ставим **мы** на ноги **нашего** человека... А какой дым? Различаешь?
- Дым-м-м...
- Сигары? Сигареты? Махра? Капитанский?
- Дым-м-м-м, – повторил я, не желая ничего уточнять, хотя от пальцев генеральских потягивало не только мерзким сигаретным никотинчиком, но и маслом спускового крючка – вороненым металцем карательной силы...
- Дифференциация восприятия установится сама собой, товарищ генерал, если не нарушена его первоначальная острота...
- Хорошо. Действуйте. Звоните без всякого-якова... А ты переведи-ка вот что этому умнику: мы предлагаем выплатить ему весь до копейки гонорар не в валюте, а в родственниках. Валяй...
- Профессор Шарон говорит, что не имеет родственников в СССР.
- Пусть не финтит. Все евреи считают друг друга родственниками. На признании этого положения временно основана **наша** гуманная и эмиграционная политика.
- Профессор Шарон не прочь согласиться с вашей логикой. Он интересуется, о каком количестве родственников может идти речь?
- Сколько он хочет? И тут **они** не могут не поторговаться. Я предлагаю трех человек.
- Профессор Шарон отвечает, что это не серьезная цифра для начала делового разговора.
- Дай для начала десять-одиннадцать. И пусть поймет намек, что я могу передумать.
- Профессор Шарон больше не желает торговаться. Речь может идти не меньше чем о тридцати семи людях.

– Спроси, не намекает ли он, в свою очередь, на тридцать седьмой год?

– Товарищ генерал, он заупрямился... это – тип с характером... говорит, что передумал... занизил количество родственников по ошибке... требует теперь сорок девять человек...

– Скажи, что и этот его намек понял. Даю сорок два рыла. Нечего путать нашу борьбу с космополитизмом, с лагерями смерти и прочим немецким фашизмом.

– Товарищ генерал... – Голос переводчика уже нервозно подрагивал. – Он снова играет на повышение. Меньше чем на пятьдесят три не согласен. Соглашайтесь...

– А ты скажи ему на это вот что: я лично в пятьдесят третьем вот этими руками передал профессору Вовси неположенную продуктовую передачу, а кое-кому разрешил закурить. Я – истинно русский человек и ненавижу юдофобов, но ты спроси у профессора Шарона, кто мне вернет дядю и тетю, двоюродных братьев и сестер, которых лично Каганович приказал расстрелять без суда и следствия как кулаков? Кто?

– Профессор Шарон отвечает, что причисляет Кагановича не к евреям, а ко всем коммунистическим преступникам и людоедам... товарищ генерал...

– Молчать... Молчать, но слепо переводить... что он еще добавил?

– Он добавил, что таких бастардов, то есть подонков, вроде Кагановича, Троцкого, Мехлиса и прочих кровопийц в Израиле со временем проклянут, как других военных преступников.

– Это было бы логично. Что значит «со временем»?

– После того, как... **мы** дадим пожить его государству в мире и покое, перестав натравливать на него арабских террористов...

– Скажи профессору, что он мне нравится. Русский человек уважает умного врага и глубоко презирает паршивого, тупого и хитрого союзника. Конкретизировать не будем. Немало ножей понатыкано в нашу спину. Завтра устраиваем банкет в их честь, не в честь ножей. Дадим визы не пятидесяти евреям, а ровно сотне. Пусть понимает **наш** намек как хочет и не обязательно в антисемитском смысле... Что скажешь, Серый? За тебя благодарим с такой вот дореволюционной щедростью.

– Хорошо хорошо хорошо... дождь... листья... жена... жена... жена... – промычал и прошляквал я, пребывая в замечательно веселом состоянии духа и с удовольствием унюхивая настроение толпы людей.

– Профессор Шарон очень рад знакомству с вами, товарищ генерал. Приглашает вас отдохнуть и полечиться на Мертвом море... там человек, говорит, держится на плаву, словно водочная пробка...

– Ха-ха-ха... отдохнем, скажи, со временем, подлечимся, оживимся и подержимся на поверхности... без намека переведи... без агрессии... пусть живут... И пусть не забудут господа оставить инструкции на случай осложнений. О чем они там балакают?

– Товарищ генерал, извините, но... англичанин и швейцарец тоже высказывают желание получить гонорар не валютой, а отказниками...

– Разве англичанин, – удивился генерал, – еврейской национальности?

– Профессор Гопкинс просит сообщить, что он – джентльмен...

– Нашему менталитету сие понятие чуждо. А швейцарец – швейцарец?

– Нет. Он – просто католик.

– Денег, как я погляжу, у них некуда девать. Скажи, что мой личный лимит – всего сотня. Остальные – за Политбюро. Я провентилирую... В крайнем случае, не евреями отдадим, а соболями или икрой. Не побрезгуют. Не бойся...

Кстати, пока шла эта замечательная и своевременная беседа, часть белых халатов списывала показания с приборов, проверяла крепления датчиков на членах моего тела, подно-

сила к носу ватки с различными эссенциями и регистрировала, как я на них реагирую. Я же старался никак не реагировать, а отвлекаться и прислушиваться...

Напоследок иностранные профессора покумекали над записями ассистентов, пощупали мой череп, поводили пальцами перед глазами и позажигали разноцветные лампочки. На все вопросы я отвечал так же юродиво, но с некоторой возможностью додуматься до смысла не бессвязно произносимых и вымычиваемых мною слов. Затем генерал пожелал мне счастливого восстановления речи, и вся его свита покинула палату. Я же вновь провалился в небытие...

Проснувшись, догадываюсь, что меня как-то проверяли и исследовали в сонном виде. Какими только веществами не пахло в палате – от нашатыря до осенних листьев, которые грустно за окном падали. В носу я чувал усталость, как чувал бы ее, скажем, в руке, если бы, сам того не ведая, колот пару часов дрова. Но что бы там, думаю, ни показывали приборы, я буду косить частичного дебила с нарушениями функции речи. Мне это и раньше, после лежки в первом моем дурдоме, отлично удавалось и даже нравилось. Я **вам** запудрю, думаю, мозги. Талант – он, господа, юркий и прыткий, если он ни в коем случае не желает попасть в грязные самовластные руки и превратиться в обезьяну, строящую жалкие рожи самой себе...

Несколько дней подряд меня вот так вот внезапно усыпляли. Как я сразу же пронюхал, они намеренно исключали момент влияния моей личной воли из контрольных манипуляций с моим обонянием.

Судя по физиономиям врачей и ученых, а также по репликам, работа моего носа на данном этапе глубоко их удовлетворяла. Но в бодрствующем состоянии я ставил этих прожженных циников в тупик. Путал цвета. Иногда не различал простые запахи и приходил в недоумение от их букетов на табличках. Совершенно не делился тем, какие связи возникают в моем мозгу при визитах в палату иностранных профессоров. И о чем говорит сравнение их запаха с запахом наших специалистов. Разницу эту я улавливал достаточно отчетливо, как и до первой операции. Была она в том, если попытаться сформулировать точно, что иностранцы просто свободно пахнут, а нашенские, советские, вроде шпионов, бессознательно скованы и как бы напряженно придерживают в себе оригинальные свои ароматические характеристики, напоминая чем-то детишек, крайне запуганных родителями и горделивой общественной моралью, которые только и думают о том, чтобы не испортить случайно воздух в метро, в классе, в кино, в гостях и на приемных экзаменах в музыкальной школе... Кроме того, от иностранных светил ненавязчиво пахло совестью. Это единственный, пожалуй, из источаемых человеком неуловимых запахов, никак не диффузирующий с личными запахами живой кожи, казенной одежды, всех частей тела и жизненных привычек. В присутствии же советских врачей и исследователей запаха совести – выразить его, кстати, поэтически невозможно – вообще почти не возникало. Если же он возникал в моем обонянии, то был таким слабым, как нечувствительный пыл в угасшем очаге, и таким как бы никому не принадлежащим, что я ни за что не сумел бы определить, кто из двух-трех белых халатов – робкая личность с еще не совсем загубленной совестью...

Много еще чего не сообщал я бригадушке врачей и ученых, хотя отвечал временами более-менее связно. Но нормально поговорив, вдруг срывался, нес изумительную во всех отношениях ахинею и сам при этом искренне изумлялся: откуда берется в башке моей такая фантастическая каша? Какого она происхождения? Лично ли мне принадлежит ее странный, подчас смущающий разум состав, и о чем таком за пределами должна говорить уму и сердцу восхитительно устрашающая непредвиденность презамысловатых моих фантазмагорий?...

Однажды я издал во сне – в дневном сне – откровенно сладострастный стон, ибо пребывал в возбуждающем опьянении от сдавившего грудь и ударившего в голову самого любимого мною на Земле запаха моей жены. Открыв глаза, увидел перед собой Котю и гене-

рала. Несколько раздражала его сугубо комитетская гэбуха в смеси с самыми, может быть, стойкими из всех существующих в жизни запашков – запашками властительного всесия и удручающе никчемного ничтожества...

– Герб, – ухмыляясь, сказал я, – портреты членов... маршал Огарков... Котя... Котя... Котя...

– Молодец, Серега, – сказал генерал, хотя Котю ужаснул мой облик и речь, – ты как бы докладываешь **нашей** державе, правительству и лично товарищу маршалу о готовности к несению почетной службы? Так или нет?

– Хочу... очень хочу... и листья грустно опадали, – отвечаю я двусмысленно.

– Скоро, скоро, Серега, отдашься любимой, как говорится, работе. А насчет всего такого, в смысле опадающих листьев, не горюй. Все у тебя будет. Все пройдет, если доверять показаниям одного библейского умника. – Тут генерал вынул из бокового кармана штатского пиджака револьвер. – Пр продемонстрируй-ка нам свое умение. Ученая сволочь что-то долго ставит твой нос на ноги. Я вот спрячу оружие, а ты закрой глаза и попробуй его учуять... не подглядывай только, Серый, по-советски давай...

Я встал – ходил уже пару дней – и вышел из палаты. Мне не терпелось ублажить генерала, чтобы слинял он к чертовой матери и оставил нас наедине. Половое желание, откровенно говоря, охватило меня при виде Коти более непреодолимое, чем когда-либо. Отдохнул ведь я, отоспался, налопался каких-то заморских восстанавливающих общее здоровье средств чуть ли не из личного припаса покойного Андропова и целыми днями изнемогал от праздного желания. А что, скажите мне, может обнадежить, согреть, укрепить силу сопротивления унынию и лишний раз причастить к таинственнейшей из вселенских тайн приятней и безобидней, чем близость с любимым человеком?...

Затем генерал позвал меня. Я возвратился, умело скрывая физиологическую примету мужского возбуждения в полах больничного халата. То с лицом серьезным и вдумчивым, то с юродиво ухмыляющимся принялся к укромным уголкам в помещении. Всей грудью втянул в себя воздух. Тут же расстегнул кашемировую, мягонькую кофточку Коти и обнаружил, к общему восторгу генерала, спрятанный на груди ее и уткнувшийся прямо дулом в нежнейшую выемку револьвер. Не мог сдержать резкой ревности и так и вспыхнул от ее мгновенного жара. Генерал сказал:

– Ты, Серега, прямо как Пушкин, прешь на меня Дан тесом. Уволь, но Константина сами спрятали оружие по моей просьбе.

Я моментально остыл и искренне был благодарен генералу за такт и уместное культурное сравнение. Не могу не подчеркнуть, что прочувствованная всей душой с самого детства жизнь А. С. Пушкина была и остается по сей день святою моею любовью... Мелькнула тогда же мыслишка: неужели **они** проникли в тайники моей души и знают, что не только вид, но и запах любого огнестрельного оружия вызывает во мне стыд, жалость, боль и ярость?... Не сам ли во сне проболтался?... Да и наяву, когда юродствовал, не раз задумчиво повторял «дуэль... гм-гм... дуэль... гм... гм... ду-э-э-ль...».

Генерал сразу же ушел в весьма самодовольном состоянии. Я быстро придвинул к двери передвижной осциллятор и столь же быстро снял халат. И упал на колени, раскинув руки в стороны – в позе и жесте благовременной благодарности жене за любовное расположение к долгожданному соитию и за само его сокрушительное счастье. Но что я вижу, господи? Что я вижу? Котя, всегда, в общем, готовая к совместному экстазу Котя, выпендроченно отворачивается от моего вида, что всегда мгновенно сообщает страждущему мужчине, особенно мужу, чувство всепронзающего душу и тело одиночества и оскорбительной покинутости. Она отворачивается и говорит:

– Ну что ты надумал, Сергей, в **такой** для меня день и в таком месте?

– Что случилось? – тревожно спрашиваю в поисках внешних причин отказа. Поймав себя на том, что спрашиваю чересчур осмысленно, поправляюсь:

– День осенний, Котя, и листья грустно опадают... Огарков...

– Ты на самом деле окретинел или придуливаешься?... Нас никто не подслушивает...

– Хочу... хочу... листья грустно опадали... почему?... дай... дай...

– Дурак проклятый, – прошептала Котя, – **там** погибли Шевцова и Ахметов из «газировки»... при взятии проб из отравленных колодцев... понимаешь меня?... Понимаешь?

– Погибли... знал... зачем?

– Попали в засаду. Бандиты зверски издевались над ними... потом заставили под дулами автоматов выпить два ведра отравленной воды... это не люди... звери... звери... теперь **им** не будет никакой анестезии... никакой... А ты лезешь под юбку... ты что-нибудь понял?

– Понял... понял... дома... лучше... в колодец листья грустно опадали...

Сказав это, я разрыдался. Что-то более сильное и острое, чем половое желание овладеть женой, оттолкнуло меня от нее. Половые желания должны, на мой взгляд, ублажаться в атмосфере внешнего и внутреннего благородства свободными от мук совести и сопереживания мировой трагедии телами. Хотя, с другой стороны, половой акт с любимым и преданным тебе существом – блаженнейшее из убежищ и интимнейшее укрытие от вампирски гонящихся за нами **властей, социалистического труда, цивилизации и подлостей людских**... Я разрыдался. Тут же вошел в палату генерал.

– На сегодня хватит, Константина Олеговна. Судя по всему, Серега, ассоциативные связи в тебе восстанавливаются в прежнем объеме. От Афганистана и нас тянет пустить слезу. Но мы слезы зажмем в кулак, Серый. Разделаемся. Это дело времени. Общественное мнение засратого Запада нас, к сожалению, лимитирует... Но речь мы тебе восстановим... Ну-ка закрой глаза – открой нос. Скажи нам на дорожку, что за запах поднесен к твоей ноздре?

Я закрыл глаза. Мне ничего не стоило определить, что под нос мой подсунут какой-то наркотик. Действуют они, говорят, по-разному, но душок от них истекает, по-моему, одинаково родственный. Это душок заманивания в некую соблазнительную мнимость. Слабое и любопытное существо человека рвется к ней, словно глупый рак к тухлятине в ловушке. Сей глубоко порочный душок, как я разумею, перешибает начисто все остальное – как смущающие человека запашки, так и ароматы, возносящие его к достоинству.

– Отрава, – сказал я. – Плохо... губит...

– Верно, Серый ты **наш**. Верно, что губит. Поэтому-то **наша** задача – гнать эту дурь на экспорт, а при импорте ее в **нашу** страну – реквизировать и засылать в активные зоны так называемого свободного мира. А если – подальше от твоего приемного устройства, учуешь? Или если – в хитрой заначке, возьмешь след?

– Возьмет, товарищи генерал, возьмет, – встряла Котя, почуяв, что меня начало подташнивать от речей генерала. – Верите? Меня он находил за три версты с завязанными глазами. Как мотылек бабочку.

– Жену найти – дело нехитрое. Сидя в Хабаровске, я свою сволочь обнаружил однажды в Сочи. Сбежала с одним из Кобзонов... ха-ха-ха... Ну, Серега, пора нам двигаться. Я органом твоим сегодня доволен. Будь здоров...

Они ушли, а меня вдруг такая пронзила вина за то, что Котя моя – бессовестное, в сущности, научное советское насекомое, что дали бы мне возможность переправиться в Афганистан, сбежал бы туда и всемерно помог бы невинному населению анализировать отравленные колодцы, искал бы вместе с детишками **наши** мины, да брал бы под ноготь зараженных блох, произведенных и воспитанных собственной женою... Тошно мне было.

До того тошно, что первый раз в жизни бляданул я и соблазнил, к своему удовольствию и удивлению, нянечку пожилого возраста. Она не отходила от меня всю ночь. Соблазнение было, однако, не половым, а умственным и душевным. Я прижимался к ее руке, навек пропахшей больничной скорбью и горестями хворых тел, плакал и повизгивал, словно мальчишечка, от неизбежной обиды на целый ряд грязных неразрешимостей жизни. А как являлась мне на ум восхитительная часть старинного танго – бы-ыл день о-осенний, и листья грустно опада-али, – я заходился в плаче и не знал, что делать дальше...

Утром поблагодарил нянечку десятью рублями за бескорыстное участие в драме моего душевного переживания. Деньги она взяла со слезами на глазах, и мы по душам поговорили о низкой оплате труда младшего персонала. Жизнь нашей страны предстала мне в те минуты в особенно отвратительном, лицемерном и тусклом свете...

Перед выпиской мне вернули костюм, ремень и галстук; обмыли, побрили, сделали даже педикюр, постригли и пригласили на комиссию. Завязали полусвинцовой повязкой глаза. Взяли под локотки и ввели в помещение, уже знакомое мне по въевшемуся в него казенному запаху.

– Здорово, Сергей Иванович, – сказал генерал, по-дружески обняв меня. – Давай попробуем прощупать степень твоего восстановления. Тут вот находится целый ряд характерных граждан и товарищей. Задание номер один: отфиксируй, пожалуйста, нахождение среди них тех, кто дает нам ложные показания, скрывая в душе соображения и факты насчет реальности? Одним словом, кто тут врёт? Никакой обратной связи у тебя не будет. Так что на коррекцию своих действий не полагайся. Поезжай, как сказал поэт, в незнаемое. Валяй, Серый, но только... ха-ха-ха... не в штаны. Добро?

В темноте я всегда ориентировался прекрасно, используя обоняние как локатор. Быстро, конечно, не подвигешься, когда дохнешь перед собой – и вбок, и ждешь прибытия отраженного твоего дыхательного посыла обратно в ноздрю. Обходишь в нужный момент препятствия. Не натыкаешься на них. Безошибочно различаешь, скажем, ворота в Кремлевской стене – любимая Котина забава. Идешь в толпе людей как зрячий. Последнее обстоятельство позволяло мне доезжать в общественном транспорте до места работы в полудремотном состоянии...

Я заострил нюх. Заострил, надо сказать, с истинным охотничьим азартом, потому что ничто так не взбодряет душу, ничто так не возносит ее к освежающим возможностям и не влечет к волнующим непредвиденностям, как предчувствие возвращения – навек, казалось бы, утраченного – дара. Ничто, господа! Ничто!...

Подошел поближе к сидевшим, как я сообразил, у стены людям. Медленно прошел мимо них. Узнал. Это были те самые люди, при виде которых еще до операции я разрыдался от тоски и вины перед своим загубленным талантом. От них исходили флюиды напряженного смущения – состояния, так или иначе сопряженного с моментом обрастания ложью. Тем более с моментом обрастания страстного, напоминающего вставание дыбом шерсти на загривке животного. Я постоял некоторое время около каждого и каждой. О, как ненавидели все они меня и в каком передо мною страхе пребывали! В страхе, неотличимом от мольбы о милости и спасении. Видимо, никто из них не сознавался в неведомых мне преступлениях и проступках. От людей сознавшихся пахнет вынужденным согласием с полной необратимостью судьбы и случая. Убежден по сей день, что один из сидевших подозревался в шпионаже и был в нем повинен. Воля его была железно собрана. От всей его фигуры так и разлило безграничным упрямством, вызовом мужества и равным ему по силе отчаянием. Возможно, мое свидетельство обезоружило бы этого человека. Я чувствовал всею рвавшейся с повода сопаткой бескорыстие и благородство этого человека. Он знал, что он делал и на что шел, хотя характера его антисоветской, судя по всему, деятельности я определить, разумеется, не мог. Я не задержался около него, чтобы не возбудить подо-

зрений генерала. Приблизился к молодой девушке. Вся ее энергия инстинктивно брошена была на успокоение сердца, сдерживание нервических движений и придания невидимому мною лицу отсутствующего выражения. Откуда мне было знать, **что** она там натворила против **них**? Но мне вдруг захотелось пасть перед ней на колени и откровенно заявить, что я не жалкая, не фанатичная, не тупая блядь вроде недоумочного марксиста товарища Рубина из «Круга первого»... нет, милая, я не из таковых. Я не заложу вас вовек ни на каторгу, ни на смерть ради идейных, прости, Господи, соображений и рабской веры в ублюдочных кумиров. Херушки...

Потоптавшись около всех этих людей, я учуял, кроме всего прочего, явного, замшелого стукача. Не ведаю уж почему, но от крыс такого рода, клещей и тараканов шибает прокисшими солдатскими портянками и коммунальной кухней перед праздничком Седьмого ноября. Но, если так можно выразиться, в молекуле стукаческой вони присутствовал и атом шпионского запаха, занесенный в нее условием вечной затхленькой скрытности и желанием хоть сколько-нибудь – как в случае с марксятинкой товарища Рубина – романтизировать плюгавую низость предательства.

Убежден, что стукач тоже учуял основательность моего безразличного внимания, и изо всех пор его кожи, словно от американского скунса, потек обыкновенный сероводород. Я мучительно покраснел от мгновенного стыда и неловкости за опустившееся человеческое существо.

Отошел от него, дыша лишь ртом, чтобы спастись от одного из основных миазмов нашей убогой общественной атмосферы. Отошел и решительно двинулся на запах совратителей – в сторону генерала и научного руководителя клиники. Принюхался, как бы лишний раз убеждаясь в безошибочности учуянного, тыкнул пальцем и сказал:

– Вы... врете... надо не лгать... не надо лгать, когда... и листья грустно опадали...

Никто не издал при этом ни звука, хотя я отлично представлял, какие ублажительные страсти бушуют в подозреваемых существах и как отяжелели от говнистого смущения высокие чины... Я же умело симулировал очередные рыдания, уткнувшись лбом в стену. После некоторой паузы генерал спросил меня – чувствовалось, что он сумел взять себя в руки после неожиданного разоблачения, – спросил с искренним интересом, как жулик, изумленный чудесами сокрушительного сыска:

– Ну и что, Сергей Иванович, врут, лгут, клеветают, скрывают, инсинуируют и маскируют указанные тобой фигуры?

– Все... все... пропахло... домой хочу...

– Уверен, товарищ генерал, что Штопов реагирует абсолютно негативно из-за нарушения синхронности работы левого и правого полушарий... В наших опытах направленно дезориентированные макаки неудержимо стремятся к источнику смертельной опасности...

– Заткни свое научное рыло, – шепнул генерал ученому. Никто, кроме меня, не мог бы его услышать. – Если хочешь знать – он прав. Никуда не денешься. Прав. Все лжем. Ежеминутно. Но возгордились от исторической своей правоты и от классовой, партийной справедливости так, что закономерно приняхались... и не дергай меня тут... плевать – пусть слышат... Он прав. Лжем. Но мы с тобой лжем в интересах построения коммунизма и укрепления нашей наступательной обороноспособности, а вот эти... эти лгут с целью подрыва мировой социалистической системы. Я не имею права сказать ему: ты ошибся. Это будет все равно, что сломать секретный прибор, дающий объективные показания. Вредительство... Ты мне обучи его распознавать **нашу** ложь, диалектически сражающуюся за всемирную правду, от **ихней** провокационной, шпионской и сахаровско-солженицынской брехомотины. Не то – партбилет выложишь на следовательский стол. И никакие листья, мать вашу так, чтобы у меня больше грустно не опадали во вверенном тебе почтовом ящике... Снять с него повязку. Стоп! Увести сначала подследственных.

С меня сняли тяжелую повязку. Я спрятал лицо в ладони и снова что-то захныкал насчет грустного опадания листьев. Сей чудный образ начинал преследовать меня слишком навязчиво, словно он не был вовсе самостоятельным образом, а являлся лишь лукавою личиною зловердного какого-то беса...

– Спокойно, Серега, – сказал генерал. – Ты в кого, собственно, тыкнул пальцем как в лгунов?

Я сообразил, что правды говорить не следует.

– Не могу... не знаю... трудно... грустно... домой попасть... листья...

– Домой попасть проще всего. Ты вот ответь, что это ты в негативку ударился? Нам от тебя адекватка требуется. Ты работать с **нами** жаждешь?

– Жажду. Буду работать, но здесь больше спать и есть не хочу, – выпалил я связно и без запинки. Очень устал от заиканий и пауз.

– Вот это – мужской разговор... Выписать Сергея Иваныча. Дать недельку отдохнуть с женой. Оформить старшим научным. Разработать за это время график восстановления его обонятельного феномена. Создать теоретический аппарат и психологическую модель всего этого, так сказать, дела. Наметить практические выходы в военно-комитетскую прикладную бионику. Не забудьте о поисках полезных ископаемых. Начните розыск в масштабах соц-лага лиц с невыявленной гипертрофией обоняния и прочих органов, кроме половых. Завтра же подать смету. Все.

Когда ученые удалились, генерал по-дружески обнял меня и говорит:

– Ты ведь в меня, Серега, тыкнул пальцем и в интеллектуала хренова. Ответь от души: почему? Не потому же, что был день, понимаешь, осенний, и листья грустно опадали?

– Сам не знаю почему. Мозги... они сами по себе... что-то в них теперь сикись-накись... две операции...

– Это я сочувствую и не перестаю сходить с ума от ярости. Извини, но шефа твоего бывшего вместе с женою твоей расстрелял бы в эту минуту собственноручно. Но все же **мы** вернули тебе большую часть способностей, и ты открой мне чистосердечно, что ты унюхал в тех людях. Мы тут с тобой вдвоем остались, а я – твой друг и, можно сказать, духовный папашка. Несло от тех людей преступлением и запирательством?

– От каждого человека, – говорю, – несет... все время... только листья не врут и поэтому грустно опадали... трудно... должна определить милиция...

– Верно, Серый. Но почему в диссидентов и в шпиона ты не тыкнул пальцем, а указал на меня?

– Которые врут – вырабатывают вместе с потом ароматичный камуфляж правды... Вам же скрывать нечего... цель имеете...

– Ты сам, Серый, не подозреваешь, насколько ты прав. Имеем цель. Тысячу раз имеем. И облапошим нашей стратегической ложью внешнего врага. Как думаешь, облапошим?

– Облапошите, – ответил я с полной убежденностью. – С Афганистаном облапошили, значит, и всем остальным запудрите мозги... плохо... плохо... листья...

– Ну будет, будет... Сейчас вызовут машину. Поезжай. Отдыхай. С женой не переусердствуй, а то швы на башке лопнут. Надеюсь, сугубая секретность всего **нашего** дела тебе ясна, и во взятии с тебя подписки **мы** не нуждаемся. Скажи ты мне, Серега, напоследок, но не по службе, как говорится, а по душе: неужели от всех разит ложью?

– Да. От всех. От одних – едко и постоянно. От других – моментами и не зловердно... пахнет... ничего не поделаешь...

– А детишки, если они еще до полового созревания?

– И тут мало чистоты такого рода... В детишках порождают ложь родители и детсад...

– Ну от трупа же не может наконец-то смердеть ложью?

– Вот от труп-то и несет иногда не телесной, – говорю увлеченно и несколько забывшись, – воню поднакопленной лжи. Особенно если труп долго не погребают с глаз людских долой и вон.

– Намек твой понял. Все же я – русский человек с тайной традицией. Но от некоторой незахороненки **нам** сейчас отказываться не актуально. Вот переделаем когда весь мир, тогда все незахороненное – захороним, а кое-что вынужденно погребенное... воскресим... **воскресим...**

Повторив два раза «воскресим», генерал так скрипнул зубами, что меня в ту минуту пробрал жуткий ужас. Ни за что не пожелал бы я самому себе присутствовать при воскрешении генералами каких-то ихних невразумительных святынь в ими же обгаженной-перегаженной пустыне Будущего.

Затем, направляясь вместе со мной в палату, куда принесли личную мою одежду, генерал отвлекся от неведомой мне тайной традиции и мечты о мстительном воскрешении и, словно испорченный мальчишка, расспрашивал о возможностях обонятельного анализа порочной женской психики. На радостях, что вызволяюсь из треклятого учреждения, я рассказал ему пару весьма скабрёзных случаев из моей практики. Я также признался генералу, что жена для меня – замена друга, брата, партии; телевидения, любовницы, велосипеда и так далее.

– Да, Серый, речь тебе надо подлечить, а в остальном ты – неслыханный в народе оригинал. Жди звонка. Я тебя никому не дам отныне в обиду. Ты – достояние. Ты – надежда не на какое-то там пресловутое религиозное, а на физиологическое возрождение несчастной, между нами говоря... не будем уточнять кого и чего именно... настроил ты меня на недопустимый лад...

Еду в черной «Волге» домой. Забыл обо всем клиническом, но как-то кольнуло тревожно под ложечкой при следующем соображении: а не с подъялдычной ли целью расспрашивал меня генерал о женской психике? Может, садистически и из зависти беспримерной любви к Коте, а также демонстрируя необъятную свою во всем осведомленность, возжаждал он травмировать меня за уклонение от правдивых ответов? С чего это я взял, что **их** так просто надуть и облапошить?...

Но отбросил я от себя все эти мыслишки с необыкновенной легкостью и бешеным прямо-таки аппетитом к жизни. Отбросил и попросил служебного водителя остановиться. Сказал, что желаю пройтись пешочком по знакомым мостовым и объять восторженной душою весь букет бытия. Водитель оглядел меня так, как обычно врачи оглядывают явных психов – со снисходительной печалью и якобы полным разделением их мыслей и чувств... Плевать, думаю, никого не задевающее юродство есть наилучшая защита и от понимания тебя, и от непонимания в советской коммунальной пустыне. Мне все равно, кем вы меня считаете: поврежденным при первоначальных родах или трансстебанутым «шизлонгом». Лишь бы я сам в своих глазах являлся тихим существом, брезгующим всего непотребного. Лишь бы я был единоличным фронтом отказа от покорного сотрудничества с грязной наукой и пакостной властью...

Иду, значит, по улице. Дышу не как обычно – только ртом, чтобы слегка упасти ноздрю и отвернуть ее от невыносимого содержания городского воздуха, – но дышу всем своим отверстым перед действительностью носом.

Страшно это для меня. Сердце колотится, приняв яд зловония, текущий из окон учреждений, закусовых, пивных и различных магазинов. В легких замечаю бронхиальную раздражительность, исчезнувшую после первой операции. Ничего, внушаю организму, пей из общей чаши, жри из общей миски, не брезгуй общей долей, не выцеживай лакомого, дыши временем общего существования – сие есть трудно постижимая радость, привычное мужество, горечь быта дня и дикий мед неизбежности... Ты принимай, внушаю, родственно при-

никнув к сквернословящему телу толпы людей, весь дух зачуханной городской берлоги, не отрешившись от жестоко чадающей кухни повсеместного жилья, в нем все же имеются источники возобновления дыхательной смеси, спасительные сквозняки и очистительные обстоятельства... Прошу прощения, дорогой ты мой и родимый организм, но пусть трясут нас с тобою токи общего напряжения и давай предпочтем стихию ежедневного страдания бесплодной бесчувственности и мнимого отстранения от замысловатой говнодавки этой цивилизации...

Иду по улице. Вернее, бреду, как бездомный пес, сую свой нос повсюду, разве только ногу не задираю у каждого столба, и чувство у меня такое, словно душа моя поддерживает за слабый локоть периодически падающий в обморок организм, и ведет его, и останавливает его в тех местах, которых бежал он прежде в отчаянии и отвращении... Ничего, говорю, привыкай, принимайся, не дрожи в коленках, гораздо легче и достойней собраться с силами и открыть сморкало всему букету жизни, чем вбухивать всю свою энергию в капризно изоляционные меры... Давай в подземный сортир проследуем. Отольем давай в этой преисподней, как все отливают, но и удивимся давай, кроме всего прочего, чудесной нашей и пожизненной обреченности на мочеиспускание... Не устрашайся, говорю, милое тело, самого себя, что есть ошибка и унылое самоограбление, не то я тебя не туда еще тыкну носом...

Завожу затем свой упирающийся организм в местный рыбный магазин. Первый раз в жизни – поверьте, господа, – решился посетить его. Обычно обходил за три версты и сплевывал после неудержимого спазма от одной лишь мысли о советской нарпитовской скверне вроде бы речного и морского происхождения. Конечно же, нигде извращение, изуродование и порча продукции этих благородных стихий – особенно стихии морской – не достигает такого преступного зловония, как в местном нашем рыбном магазине. Слезы буквально прыснули из глаз моих, словно у клоуна, когда обзрел я, содрогнувшись, сморщенные морковочки, вяленькую свеколку, проросший лучок и серые судки с жалкими соленьями – помидорами и огурцами, – выставленные там, где положено было находиться всему, собственно говоря, рыбному. Поскольку на стене, за прилавком, довольно мастерски были нарисованы члены, так сказать, рыбьего политбюро – лещ, судак, севрюга, окунь, кета, краб и даже кальмар, которого, по словам Коти, в народе звали «кал-марке», пока он загадочно не исчез со всех всесоюзных прилавков. Освоился постепенно. Унял отдышку. Заметил, приглядевшись, «дары моря», благодаря которым магазин наш несчастный не переименовали в овощной. На этом вечно настаивали местные жители, испытывавшие удивительно стойкую тоску по минимальной хотя бы определенности. Я выдержал и это испытание. Некоторые покупатели – пожалуй, даже все они – напряженно вглядывались в оттаявшую морскую капусту, в селедку, брюшко которой выржавело и обнажило шкелетный гребешок, в маслины, съевшиеся в мутном рассоле до того, что напоминали головки эфиопских детишек-дистрофиков, вглядывались в просоленные мумии трески и ржавые, похожие на мины консервы «Частиковые с перловой кашей и каперсами». Они раздумывали: покупать эту карикатуру для продолжения жизни семьи, а заодно и своей собственной? Я же подсчитал в уме расходы, выбил чек и подал его продавщице. Подав, вежливо попросил: «Пожалуйста, порезать». – «Что порезать?» – «Морскую капусту и треску». – «Вы что, мужчина, спятили или издеваетесь над рабочим местом?» – «Нисколько не издеваюсь, а наоборот: раньше резали и теперь нарежьте», – сказал я, подстраиваясь к языку продавщицы. «Если ты чокнутый, то иди и лечись», – сказала она миролюбиво. – Раньше резали семгу и балык. Пора знать».

Мне отвесили морской капусты, селедки, трески и маслин. Чтобы перебить неопишуемые запахи бесчеловечного рыбного магазина, я промурлыкал свой любимый напев «и листья грустно опадали», поблагодарил продавщицу, искренне попрощался с гражданами, осмелевшими от моего почина, и вышел вновь на улицу. Воздух города показался мне в тот миг вполне сносной дыхательной смесью и скромным, милым подарком еле живой

природы. Разумеется, описать душок, который пер из магазинного свертка, невозможно, но радость, происходящая в душе человека от чувства исправности здоровья и новообретения погубленного дара, намного превышала некоторое мое осатанение от гадливости...

Насколько больше, думал я по дороге домой, возникает в организме душевных сил, когда возмужествовал ты принять жизнь — тяжкую эту жизнь — во всей ее ужасающей полноте и любовном вмещении в себя взаимоненавидящих сторон и частностей, чем тогда, когда ты дергаешься высокомерно и тщетно изводишь дневную энергию на возведение дырявых преград между небрежующей **ею** и самозатравленным тобою...

Первый раз в жизни решился пройти проходными дворами, столь обожаемыми Котей. Никакой дурноты. Хотя нигде задворочные запашки всего завалявшегося не скапливаются так скученно и дружно, как в проходных дворах и в затхлых их тупичках... Поднялся к себе по лестнице черного хода, чего тоже никогда прежде не делал. Лишь выносил по просьбе Коти, да и то зажав нос, пищевые отходы и помещал их в спецведра. Обьедки эти должны были, по идее, вывозиться чуть ли не ежедневно на скармливание каким-то мифическим, повторяю, пороссятам. Но тухли они, бывало, в подъездах по неделе. И вонь эта, просачивавшаяся странным образом в квартиры, наводила меня лично на нервные и безысходные размышления о разложившемся отечественном сельском хозяйстве...

Ничего. Поднялся. Прошел сквозь позорно пахнущий строй пищевых пороссячьих спецведер. Сделал на третьем этаже вид, что не замечаю отставного полковника из соседнего подъезда, притыривающего в полиэтиленовый мешочек непротухшие огрызки костей, корки сыра, колбасные шкурки и еще что-то, пригодное для пропитания трех полковничьих гончих. Гончих собак, говаривал этот общительный сосед, прокормить бывает сложнее, чем парализованных родственников... Так вот, я сделал вид, что возвращаюсь с гулянки в чумном виде и ни-че-го-шень-ки не замечаю. Но если бы вы знали, какое чувство сдавило вдруг мое сердце от горестного зрелища, какая тоска подгадила моему организму в момент его решимости соответствовать раскладу общей жизни и какие антисоветские мысли замельтешили в незажившей еще голове, словно жирные мухи вокруг тех же спецведер, — если бы вы это знали!... Сгорая от стыда за отставного военного, достаточно нанюхавшегося в кровавых кампаниях пороха и прочей смертоубийственной мерзости, а нынче вот не имеющего возможности прокормить достойным образом трех любимых животных, я постучал в дверь... Молчание... Стучу снова... Весьма, думаю, странно, потому что свет в квартире, если я не ошибаюсь, горел. Причем горел во всех комнатах... Стук мой, конечно, трудно услышать при работающем телевизоре, но не оглохла же она... Начинаю барабанить в дверь и ждать ответа. Одновременно слышу, как внизу разгорается лестничный скандал. Слышу, как застуканный кем-то полковник отбредывается и страстно уверяет, что он не только не вытаскивал никаких костей и ошкурков, но, наоборот, пытался спровадить свои личные, семейные обьедки в чужое ведро, потому что в его подъезде все ведра давно не выносили, а партией строго указано не выкидывать на ветер ни одной калории. Но жильцам ясно было, что к чему, и кто-то пригрозил полковнику черкануть жалобу министру обороны на противозаконные действия, чтобы притянуть его за регулярные кражи подкормка для каких-то действительно мифических поросят...

Я продолжал стучать в дверь, довольно раздраженно думая о том, где находятся эти пороссята, на чьи столы они попадают после зареза и каким образом можно проконтролировать работу сборщиков пищевых отходов... Не может быть, чтобы и в таком деле все обошлось без частного мошенничества... Но теперь вы берегитесь, сволочи, решил я. Теперь я не буду чуждаться гражданской жизни, выматывающей человеческие силы и нервы. Завтра же лично прослежу все тайные пути развития наших обьедков в вашу беззастенчивую прибыль... Тут из магазинного свертка так отвратношибануло в ноздрю залежалой морской капустой, изначально враждебной нашему сухопутному, как выражается мой друг философ

Г-в, национальному космосу и благоразумной нашей идее квашения белокочанной преле-сти, – так шибануло, да еще и садануло запремой селедочной ржавью, словно заплаканными кандалами по башке двинуло, что я взбешенно полез было за ключами в карман брюк про-вонявшими донельзя руками. В тот же самый момент Котя наконец-то открыла дверь.

На милом мне лице – неподдельное изумление: «Почему не позвонил?... Я боялась открывать. По черной лестнице повадились ходить цыгане. Одни предлагают фальшивый мед из ворованного сиропа, другие в этот момент вытаскивают рыболовными крючками цен-ные вещи...»

Я пропустил мимо ушей всю эту торопливую тарабарщину. Я замороженно, как все-гда, вглядывался в Котины глаза, в Котины губы, в мочки ушей, нежно налитые розовым жаром на ярком свету, в несколько растрепанные, в сладостно медовые ее волосы и отяжеле-вал от непреодолимого похоти. Просто остолбенел, стоя на пороге кухни со зловонными морскими дарами в растерянных руках... «Что за запах, Сережа? Что с тобой?» «К возвра-щеньицу, – говорю, – купил народной закуски. Посидим сначала или полежим?... Целых две недели уже, Котя, листья грустно опадали...» «Ты не-воз-мо-жен просто со своими листьями... что за народная закусочка?... Ты действительно сошел с ума?... Немедленно выброси все это вместе с бумагой пороссятам... и прекрати с порога лезть в постель... только одно на уме... хватит фаллократствовать...» «Котя, – удивляюсь, – я твой муж Сережа. Наше многолетнее желание – обоюдно взаимно. Я не могу жить вне нашей постели, но согласен, что сначала надо посидеть, выпить и закусить». «Выкинь, пожалуйста, эту тухлятину, прими душ и отмой руки моим мылом. Я что-нибудь приготовлю. Ни на что не хватает времени...»

Меня разобрала некоторая обида. «На блох и пленных жертв у тебя времени хватает», – сказал я. «На это хватает, потому что это – единственная наша надежда. Это – премии, сте-пень, поездки, „жигуль“ для тебя же и человеческое питание. Как ты себя чувствуешь?» «В последних астрах, – говорю, – печаль хрустальная жива... и все такое... пятое-десятое...» «Передо мной ты можешь не разыгрывать идиотика. Я – не генерал. Со мной этот номер не пройдет...»

Я промолчал, ибо холодный душок разлаженности старинных отношений связывает язык и омертвляет способность к бытовым движениям. Печально выбросил в спецведро смердящую покупку. Одежду свою, насквозь пропитавшуюся букетцем морской капусты, ржавой сельди и просоленной трески, спешно вынес на балкон.

Что-то вдруг подозрительно смутило мою ноздрю, слегка уставшую от бесстрашного и небрезгливого вдыхания в городе всего обыденного. Что-то странно насторожило ее. Память любого человека в таких случаях начинает работоспособно суетиться, пытается отко-пать в себе первоисточник впечатления. Мою память обычно подзаводили к работе не внеш-ние приметы чего-либо или кого-либо, но запахи и самые безалаберные их смешения.

Я полез под душ, раздражаясь все больше и сильнее оттого, что не могу определить происхождение учуянного. Подумал, что не мешало бы всем желающим нарушить свя-щенные границы СССР замечать следы кашицей из морской капусты, полуразложившейся селедки и выеденной солью трески. Самая натасканная ищейка схватила бы воспаление сли-зистой оболочки своего чудного чуяла от этой ехидно-цепкой, всверливающейся в плоть твою, тупо заворачивающей память и существенно ослабляющей умственные способности воняловки... Сейчас, думаю, отмоюсь и непременно вспомню, что это за запашок, мучи-тельно знакомый и настораживающий в области сердца? Вспомню, если не нашкодили уче-ные своими лазерами в моей памяти... Вспомню... А то, что Котя взъерошилась при моем приходе, то нету, очевидно, на белом свете такой всезабвенной любви, чтобы помогла она любящей женщине с ходу броситься в объятия мужа, презрев пропитанность его одежды и плоти ужасной продукцией советского рыбного магазина. Тут вполне возмутиться все

душевные и сердечные силы человека, то есть женщины и супруги, и категорически восстать против вони, унижающей чувства и попирающей скромную красоту семейных отношений.

Под душем я ужасно продрог, потому что под дверь ванной поддувало горестным осенним холодом. Продрог, но отвлекся от напряженного припоминания и, как всегда, мурлыкал в страстном предчувствии близости с Котей: «Был день осенний, и листья грустно опадали... в последних астрах печаль хрустальная жива-а-а...» Дважды отдраил тело свое мочалкой, но запах навязчиво пристраивался – пакость – к внутреннему обитанию. У нормальных людей это порой происходит с настырными фразочками, а у меня еще и с запахами. Непременно должен тут подчеркнуть, что каким бы отвратительным, возмутительным, раздражающим и доводящим до уныния ни был тот придонно-рыбный букет, воспитанный нарпитом, – принадлежал он как-никак естеству живой природы, то есть мог бы вызвать даже сострадание к себе в великодушной и поэтической личности. В проникшем же во все поры нашего бытия, непостижимо пристроившемся внутри нас и подчас до неразличимости слившемся с нами запашке советской власти – запашке въедливо-хамском, размножающемся путем мизерного деления в нас всего достойного и святого, нет ни на йоту ничего органического, а потому и не вызывающем в человеческой душе ничего, кроме бешенства, всепривычной озлобленности, ужасающе подобострастного рабства, бессильной ненависти, отчаяния, усталости и слабой надежды на внезапное посвежение...

Выхожу посвежевшим и несколько взбодренным. Ничего, к счастью, не учуиваю, кроме колбаски, шпрот, поджаренных хлебцев, засоленных лично мною патиссончиков, салатика «оливье» и кусков душистой дыни. А из кухни потягивает жареным литовским салатом с луком.

На глаза у меня навернулись слезы от родного быта, расположения ко мне аппетитного застолья и родственного, любовного внимания жены, которое, скажу я вам откровенно, зажигает в вас все пылкие чувства сильнее и мгновенней, скажем, чем обалденные ее ноженьки в полах распахнутого случайно халатика... Ну, говорю, Котя, давай чокнемся. Я теперь – старший научный все-таки... ха-ха-ха... постараюсь химичить, чтобы и рыбку съесть и, сама знаешь, на что не сесть... за нас с тобою... люблю... хочу всегда... листья грустно... салатика подкинь...

Взволнован я был так возвращением домой и сладчайшей минутой совместного застолья, начисто отстраняющей весь прочий мир от двух близких существ, что непритворно разыкался и заидиотничал. Любое сильное чувство оглушает, и никуда от этого оглушения не денешься.

Выпил я и разболтался, словно поверивший в себя поэтишко, о возможностях моей способности и хитромудрых вариантах ее использования с откровенною, цинической целью слегка разбогатеть и уйти до конца дней в загородный покой... Соловьем заливаюсь... Выпиваю и закусываю... Глажу, налопавшись, Котину ручку. Затем завожу любимое танго. Уняв желание, приглашаю милую свою даму станцевать, с тем чтобы, старомодно поплавав... и листья грустно опадали... после старомодных же танговых па подхватить ее на руки и, кружась, ввертеться в нашу спальню со звучащим в сердце гимном интимной жизни...

Чувствую, однако, необычайную вялость Котиных телодвижений и плохо скрываемое равнодушие в выражении лица. Спрашиваю: не устала ли?... Может быть, снова неприятности и грязные интриги?... Вместо ответа Котя подводит меня в танго... и листья грустно опадали... к блохообщезитию моей конструкции. «Смотри, – говорит, – я открыла способ ускоренного развития своих питомцев. Перепробовала все: свежеотрубленные обезьяньи лапы и хвосты, петушиные гребешки и нежные уши морских свинок – их от всего воротило, а ведь все это – эквивалент моего праздничного пайка. Это все равно, что икорка, крабы, салями и польские вишни в сахаре. Знаешь, на что малышки клонули? – Я дал понять кивком головы, что меня это чрезвычайно интересует, не выходя из танго. – На кусочки пар-

ной телячьей печенки. Теперь ты каждое утро изволь мотать на Тишинку. Как твое самочувствие? Все-таки – чудо, что **они** вернули тебе обоняние...»

В этот момент, как и положено в танго, я зарылся лицом под Котины завитки – впиваясь опьяненно в нежнейшую местность вблизи ключицы и со стоном дотрагиваясь губами до мочки уха... Но меня, как по голове колуном, вдруг оглушает исходящий от Коти остро-чужеродный запах постороннего мужчины. Он всегда сохраняется в нежной выемке ключицы – и твой собственный, и чужой запах, – как остаток ночного тумана в восприимчивой луговой ложбинке... Нет, это не сослуживцами несет. Запах сослуживцев внедряется лишь в одежду да в волосы, и состоит он из институтской химии, сигаретного курева и тошно-чернильной бюрократии... Продолжаю по инерции вести Котю сквозь хрустальную печаль последних астр, но руки мои, чувствую, грустно опадают... опадают с Котиных плеч, мертвеет сердце от жуткой и безошибочной догадки... Как собаке, становится мне совершенно ясно, что здесь происходило в мое отсутствие. Если бы не морская вонища, я бы, безусловно, с полунюха все сообразил, как только вошел в квартиру. Ошибки, к сожалению, никакой тут не могло быть, хотя взмолился я в тот миг, чтобы это оказалась моя послеоперационная ошибка, чтобы это была каверза разлаженной памяти и жестокая подьебка ревнивого воображения... Бесчувственно вожу Котю по квартире... слезы-ы-ы ты безутешно проливали... принимаюсь... ты не любила-а-а... в спальне чужой этот, бесящий меня душок был особенно нестерпимо смешан с запахом Котиного белья, наших простынок... и со мной прощалась ты-ы-ы... кружевных занавесок – они удерживают запахи, как паутина мух, – ах эти черные глаза меня пленили-и-и... не для того ли составлен был прежде заговор и ликвидировали во мне помеху семейному блядству?... Никаких нет в этом сомнений, и если бы не случайная бдительность **органов**, я бы проживал с изменницей, словно глупый бурундук, набивший орехами щеку... Заново поставил пластинку... И листья грустно опадали... запах этот ни с каким другим не спутаешь... вот оно что, Котя... в последних астрах печаль хрустальная жива... вот оно что... видно, память моя помиловала – не оглушила сразу сокрушительной догадкой... но не проклятье ли – сие возрожденное обоняние?... Садись, говорю изменнице и шлюхе, напротив меня, подними черные глаза и смотри в мои, не отрываясь... я тебе расскажу все кино, которое вы тут без меня крутили... садись, сука, не то безжалостно врежу хрустальной вазой по всем твоим астрам так, что листья вовек не опадут...

Никогда так не разговаривал с Котей. Никогда. Но вид у меня, очевидно, был такой твердояростный и обезоруживающий несомненным знанием всех обстоятельств случившегося, что она села на диван, побледнев, и попыталась откалякаться: «Ты ненормален... зачем они тебя выписали?... Ты отдаешь себе отчет?... Успокойся... давай вызовем...» «Молча-а-ать! Молча-а-а-ать... предательница... пионерско-комсомольская блядь... Молчать – не то убью ржавой сельдью и глотку заткну морской капустой... молчать!... ни слова лжи!...» – перебил я в бешенстве Котины омерзительные попытки пофинтить с призраком неминуемого.

Мне все, повторяю, было ясно. Для частичного успокоения жахаю полстакана коньяку в плане борьбы с антиалкоголизмом Горбачева. В душе – болезненная неразбериха и тоска. Пыль крушения жизни застилает глаза. В сердце адским воплем исходит подыхающая, как бездомная псина, преданная моя любовь. Эта же мразь сидит – не шелохнется, устала на меня в ужасе во все свои черные глаза... Лучше, господа, любить безглазую, несчастную тетю Нюру – жертву сернокислотной ревности, – чем эти черные глаза, которые... ах вы меня пленили?... Беру любимую свою пластинку, крутившуюся столько лет в моем проклятом мозгу и днем и ночью, крутившуюся безумно и подзаводившую меня на чувство и бодрость сил в пустыне жизни, беру и разбиваю ее со скрежетом зубным – разламываю пополам о колено, а потом – на более мелкие части... безвозвратно... слезы-ы ты безутешно проливали... ты-ы не любила... и со мной прощалась ты... ах эти черные глаза... измельчил

яростно пластинку... От треска частей Котя вздрагивала, как от выстрелов... «Серенький, умоляю: успокойся... выпей седуксенчика...»

Молчать, говорю, кино у вас происходило следующее. Если вымолвишь, предательница, хоть словечко – осиротеют все твои блохи... То, что я скажу, открылось мне впервые вне памяти и сплетен... Я тебе такого выпью седуксенчика, что мозги у тебя из ушей вытекут, как у загубленной шимпанзе... Меня кладут на восстановление нюха. Ты спешишь на свою ебаную Красную площадь... Да! Во мне оживлены зарубежными светилами все центры воспаления народной жизни и бурления языка. Да. Без мата я теперь – ни шагу. Молчать, блядище... Ты приходишь и раскрываешь поганую свою пионерскую варезку на солдафонскую истуканщину караула. Верно?... Тебе пригляделся с некоторых пор один пучеглазый болван. Может, не пригляделся? Может, плевать тебе было на разнообразие болванов? Может, все эти трупоохранительные рыла – на одно, бля, виноват, для тебя лицо и прочие органы?... Молчать!... Ни слова – тут тебе не нарсуд, но Высший Трибунал обосранной любви и преданного брака... Полагаю, что порочное засело в твою плоть еще в период полового созревания. Теперь мне – оленю – вполне это ясно. Помню все признаки замаскировавшегося полового извращения и навязчивой мечты... Помню... Принимал их за восторг идолопочитания косоглазого сифилитика. А ты вот от чего топталась с ноги на ногу, как обойденная петухом клушка, и все гузно свое выпячивала... выпячивала, извращенка... и губки облизывала... ах, Сережа, я заснуть временами не могу, не сходимши на Красную... И как я мог проглядеть все это? Как мог не учуять, чуя иные, не постижимые людьми тайные зависимости чувств и мыслей? Но теперь... теперь, если тварь какая-нибудь попросит у меня стакан воды на ночь, я вскрою с бешенством ебучую подоплеку подобной лживой жажды... Молчать! Налей-ка коньячку, караульная половица.

Выступление свое обличительное передаю дословно, ничего не утаивая. Мат и незнакомые словечки, сыпавшиеся тогда из моих уст, удивляли меня безмерно. Сдерживать их было бесполезно – песок сыплется из гнилого куля...

Итак, болван этот, с надраенной красным гуталином кирзовой рожей, усек знакомое лицо, явившееся наконец-то без мужа, без этого тельца вислоухого... Молчать! Плевать мне, в какой именно из моментов освобождения от службы подканал он к тебе. Может даже, сразу после установки синего своего штыка в козлы. Не знаю: был ли он в форме... По глазам вижу, по слабовольным глазам твоим вижу, что без формы был бы он тебе не мил. Без формы и я у тебя имелся на худой конец... Подходит, выпятив накладную грудь. Щелкает, возможно, каблуками... Здравсьте. Неоднократно млел при виде вас в напряге бокового зренья. Может, процокаем по **нашей** брусчаточке в более интимное место? В восемь мне снова заступать на пост номер один СССР. У какой же трясогузки, скажите, не лопнет резинка на рейтузах от слов «пост номер один СССР»? Людмила Зыкина и Алла Пугачева... Молчать! Я не глумлюсь над народными святынями, а запоздало вскрываю женскую слабость и тяготение ваших страстей к разнопогонному антуражу... Ах вы погань! Погань!... А вот сейчас отвечай мне в точности: так оно было или не так? Соврешь – скормлю тебе из спецведра всю морскую капусту. Рылом тыкну и скормлю... Я тебя нынче ознакомлю со своей решительной натурой... Ты меня тоже, сукоедина, не знала до этой минуты, как, впрочем, я и сам себя не знал. Тем лучше – будем знакомы, Константина Олеговна... Так оно все было или не так?

«Так, Сережа, прости... стряслось что-то неожиданно с подкоркой...» «Дальнейшее восстанавливать перед тобой и собой не желаю, – говорю. – Тут и дураку ясна картина морального падения. Форму ты его попросила не снимать, я полагаю?» «Прости... прости... это же форма во всем виновата. Я же не для секса, Сережа... я ради комплекса...» – «Штыком тебя он соблазнил своим караульным, мразь...» – «Сексуально Игорь абсолютно ничтожен...» – «Значит, каждый раз, не сняв шинели, фуражки и сапог, заваливалась эта исту-

канская модель на нашу брачную коечку?» – «Ты, Серый, совсем меня за блядь какую-то принимаешь... Все происходило на полу. Всем святым клянусь тебе – „Надеждой Афганичины“, степенью, любовью нашей клянусь – только на полу...» – «Неоднократно?» – «Пять вечеров... прости... я должна была уничтожить в подкорке эту проклятую форму... эту казарменную чучеловость... эту их мерзкую привычку отпечатывать шаг... ты себе не представляешь, во что превращает неплохого, в сущности, парня караульная служба в Кремле... давай, Серый, поговорим начистоту перед лицом нашей драмы...» «Это не драма, а человек с ружьем. Дегтем его оружием все вокруг провоняло и сортирной казарменной хлоркой... потными подворотничками и проодеколоненными галифе... одеколон „В полет“... провоняло показательным моргом, – ору, – поднабралось душка Верховного Совета СССР... впитало всю отвратину главной конторы советской власти – оккупированного красной дристей Кремля... вот что ты дома наделала... еще налей рюмку и дай лимончика, сволочь...» «Выпей, Серый ты мой, успокойся. Жизнь искручивает нас в пороссячий хвост помимо нашей воли. Это абсолютно доказано закрытой психологией. Я дам тебе почитать материалы коллоквиума... Конечно, ты можешь подать на развод. Я признаюсь на суде, что изменила. Но изменила бессознательно, внутренне оставаясь верной... прости, Серый... это и не секс был вовсе, а какая-то... несуразная смена караула...» «Свято место, – говорю гневно, – без караула не бывает... трижды вымой пол стиральным порошком, открой окна... то-то не хотелось тебе в палате... дружки погибли в Афганистане... вот как дело было. Все встало на свои места... все проветрить немедленно... чтобы ни молекулы этой ни единой не смердело в доме – ни кремлевской, ни караульной, ни солдатской, ни мужской вражеской молекулы чтоб не смердело тут, повторяю... затем – раздевайся... у меня тоже имеется вполне беспринципное тело...»

Закрыв лицо ладонями, раскачиваюсь от душевной боли, как раскачиваются несчастные от внезапного флюса, и подумываю: не убить ли мне ее в благородном порыве? Мне ведь не будет ничего. Два раза человеку лазили в мозг. Напортачили. Задели инструментом разумность и расшевелили зверскую невменяемость. Наверняка ничего не будет, да и генерал всемерно поможет... Сволочь, думаю, знал ведь, что Котя тут скурвилась без меня. Нюх у **них** на это сыскное дело не хуже моего. Знал и специально выводил насчет запаха женской психики... Убью, пожалуй. Выкину в окно. Лети, и пусть тебе во время полета будет мучительно стыдно, гадина... Решившись на месть и наказание, представил вдруг новое свое одиночество. Представил, как до конца моих постылых дней не удастся мне выветрить из себя и из дома единственно любимый, родственник, желанный, Коти моей присутственный запах. Представил, как взмолюсь я от крайней тоски о возвратном чуде, но жизнь даже пальчиком не пошевелит ради соответствия безумной моей мольбе... Разрыдался от счастья, что можно не совершать в эту вот минуту ничего горестно необратимого. Словно вырвался в удушье из лап безжалостного сна... Смотрю – Котя стоит передо мною голенькая, хотя все окна открыты, и листья грустно опадают... одной ногой чулочек с другой стягивает так грациозно, что невозможно было в тот миг не подивиться ничтожной жалкости некоторого заблуждения этой любимой личности на фоне нашего многолетнего общего чувства и не внять ясному порыву души к преодолевающему ужасную обиду прощению. Тут я разрыдался еще пуще... пластиночка-то разбита... сле-е-езы ты безутешно проливала... ты не любила... и со мной прощалась ты... И началось у нас бурное, как говорится, примирение до самого утра... в последних астрах печаль хрустальная жива и так далее... Состоялась, можно сказать, вторая наша брачная ночь, бывшая в кое-каких интимных деталях и непредвиденных мелодиях ошеломительней первой.

Конечно, в паузах зверски меня мучило от невыветривающейся кремлевско-караульной мрази с примесью крематорийной хвои голубых елей и мавзолейной сливной ямы, куда партия настойчиво продолжает затягивать толпы отупевших людей.

В этих паузах я допрашивал Котю: с какого возраста у нее возникло комплексное тяготение к караульным дядям?... Один ли остолоп тут побывал или полроты?... Как его – сволочь – зовут?... Когда он заступает на пост?... Я жду правды... только правды... какой бы жестокой она ни была... Мне также нужна фамилия... я не собираюсь жаловаться в ЦК и коменданту Кремля, но желаю знать, кто именно давит косяка на трупопоклонниц СССР и разных заграничных жопп, прилетевших сюда за тридевять земель вобрать в нюхало номенклатурной мертвечины?... Вот как у этих рослых наших болванов, похожих на показательных боровков ВДНХ, стоит на посту номер один СССР... Молчать – ты потеряла право голоса в половом адюльтере с караульной кирзой...

Словечкам своим и выражениям я сам весьма удивлялся в момент произношения. Выходило из меня все накопленное памятью за долгие годы брезгливого отстранения от народной жизни. Однако разговорился я до того, что Котя перешла в наступление и заподозрила меня в симуляции идиотизма с целью ввести в заблуждение генерала и нейрохирургию. Тогда я опомнился, что залез выше крыши, и сказал, что теперь у меня бывают периоды одеревенения языка с речью, сменяющиеся бесконтрольной болтливостью. Наврал помимо своей воли – блядство жен рикошетом бьет по нравственности мужей, – что я объявлен сверхсекретным субъектом, а поэтому Котя получит ко мне доступ номер один...

Примирение наше, одним словом, действительно было бурным и бессонным. Под утро я в сосиску накирлялся коньяка и пристал к Коте с ворчливым вопросом насчет национальности этой подлючей шинели, тухлого штыка и портяночной кирзы. Тут Котя, обнаглев, закричала, что я мог бы «уважительней отзываться о человеке, так или иначе переспавшем не с какой-то фабричной шлюшкой, а с твоей собственной женой»... Логика этого высказывания и претензии как-то не сразу уместились в моем воспаленном мозгу. Я строго попросил повторить. Вместо ответа Котя начала одеваться, чем совершенно меня обезоружила. Да и кто из любящих не сдаст своих выгодных позиций и не размякнет от полной обезволенности, когда подлое, но любимое существо обиженно набрасывает на себя комбинацию и так гневно одергивает на милых плечиках бретельки, словно готовя крылышки к безвозвратному отлету в иные руки, что вы, сами того не замечая, опускаетесь с высот гордого презрения до зачуханных половиц окончательного пресмыкательства? Никто. Я даже уверен, что Отелло покончил со своей дамой не столько из ревности, сколько из желания хоть как-то предупредить наползающую на душу слабость характера. Я также уверен, что люди с так называемой нестигаемой волей вредней в миллионы раз для всего человечества и каждого человека в отдельности, чем личности слабовольные. Короче говоря, я поступил в тот раз отчасти как Отелло, отчасти как обезоруженная тряпка – я Котю первый раз в жизни прилично отмудохал... Сорванной с плечиков комбинашкой – по астрам... по астрам... чтоб грустно опадали... печаль прощальная жива... марш – обратно в постель, похотливая пионерка...

Начались очистительные рыдания с ее стороны, заверения в моей половой неповторимости, основанные на опыте одной-единственной измены за несколько трудных лет совместной жизни, и разные, совершенно неожиданные для меня примирительные сексуальные поступки. Я все же настоял, чтобы Котя ответила насчет национальности «этого ночного сторожа». Котя сказала нехотя, что у **них** не было никакой интеллектуальной близости... «с ним буквально не о чем было поговорить, но он признался однажды, что его мать была полуполькой-полуеврейкой, а отец – полулитовцем-полутатарином. Сам же он считал себя почему-то чистокровным русским...».

Под этот рассказ, с бешеной ненавистью к постовой сволочи и с мыслью о печальной истории Кремля, я наконец провалился в сон...

Просыпаюсь с закономерным треском в башке и от жуткого грохота в дверь черного хода. Схватился за голову в страхе, что вот-вот разойдутся черепные швы и придется вызы-

вать «скорую». Открываю дверь. Там – толпа жильцов, участковый и управляющий техник-смотритель.

«Неужели вы, товарищ Штопов, не чувствуете, какую вонь развели в общественном подъезде?...» – «Это же, понимаете, вызывающая антисанитария...» – «Вы ответственны за два сердечных приступа с невыходом на работу...» «Я, – отвечаю, – ничего такого не замечаю в последние часы, но спецведра пороссячи следует опорожнять в положенный срок. Или мы прекратим откармливать ваших мифических поросят. Вы разбудили оперированного...» – «То, что вы кидаете в спецведро, никакие поросята есть не станут...» – «Давайте, товарищи, вынесите ведро на помойку и ликвидируйте лишнюю вонь...» – «Неужели вы ничего не чувствуете?» – «Правда, что в народе говорится: своя воньца не пахнет...» «Я, – повторяю, – оперированный на голове. Я на больничном. Зайдите, товарищ участковый, в квартиру. Вы сейчас поговорите с кем следует. Остальные – ждите в подъезде. А провозившие дары моря я купил в нашей „Рыбе“...»

Тон мой юродски-начальственный смутил местных заправил и нервных общественников. Участковый проследовал за мной. Сняв фуражку, туповато склонился над блошиным загоном, разглядывая кишевших на бескалорийной кошме насекомых. Я набрал служебный номер генерала. Адьютант соединил меня с ним мгновенно. «Серый? Доброе утро. Я тут как раз твои ночные разговоры прослушиваю. Очень складно. Молодец. Поправка идет гигантскими шагами. Ты – мужичина, но финтить хватит. О'кей? – Все во мне от этих слов провалилось в тоскливую бездну. – О'кей, Серый? Ты что молчишь?» «Тут меня, товарищ генерал, беспокоят по линии ЖЭКа, – говорю как бы ни в чем не бывало, – запахи их беспокоят из спецведра для поросят. Прошу воздействовать...»

Я передал трубку участковому. Тот, стоя по стойке «смирно», доложил что к чему. Подтвердил факт смердения морской капусты, сельди и трески. Не знаю, что именно наговорил генерал менту. Тот не успевал отвечать: «Есть... есть... слушаюсь... будет выполнено, товарищ генерал... есть... служу Советскому Союзу...»

Затем пулей вылетел из квартиры. Я снова взял трубку. «Вот что, Серега, – сказал генерал, – не думай, что я тебя не понимаю. Я все прекрасно понимаю. Мне самому у нас работать неохота. Работа тяжелая и временами грязноватая. Переделка **мира** – не проктология. Ее в перчатках не делают. Ясно?» «...Листья... листья... грустно... в последних астрах, товарищ генерал, ты... безутешно проливала... хрусталь прощальная жива...» – провякал я, потому что больше ничего не пришло в мою голову, потрясенную тотальным подслушиванием частной личной жизни и, таким образом, полной моей интимной оголенностью и беззащитностью...

«Бросай, говорю тебе, Сережа, финтить и строить Харламова. Нормально – увиливать от сотрудничества с органами. Я это уважаю и, повторяю, понимаю. Но мы с тобой поработаем. Не будь большей, чем Феликс Эдмундыч, чистюлей. Мы тут не хуже твоего идеалисты, гуманисты и поборники прав человека. И ничего такого позорного для твоей чести и совести ты делать не будешь. В частности, повременим с обчуиванием подследственных. Не беспокойся. Иду тебе навстречу. И ценю, повторяю, внутреннее твое благородство. Нам полураспавшихся циников не требуется. **Мы** – не свинарник, Сергей Иванович...»

В этот момент разговора – разговора почти одностороннего – я поглядел в окно. Техник-смотритель с одним из общественников выносили наше спецведро на помойку. Чувствовалось по их лицам, что они изо всех сил задерживают вдохание в себя смердения даров моря...

«Так что ты, Серега, давай слегка опохмелись и отдыхай, приходи в себя. Главное – проникнись раз навсегда мыслью о том, что ты со всеми потрохами принадлежишь народу и, в его лице, **нам**, то есть движущей силе истории. Ну что, трудно тебе будет полетать на вертолете по красивейшим местам Анголы, Никарагуа, Афганистана, а вскоре и Ирана и поню-

хоть-разнюхать, где у них притаились редкие периодические элементы?... Что молчишь?... Можешь сам планировать полезные **нам** фокусы своей гениальной носоглотики. Кто тебе возвратил-то ее?... А?... Молчишь?... То-то и оно-то, Серый, что мы с тобой немало наворачиваем чудес. Это разные великие поэты начинают мощно действовать после откидывания копыт, а мы с тобой должны поканителиться, пока ты жив и вертухаешься. Заверяю, что ничего такого, беспокоящего твою совесть, учуивать ты не будешь... Договорились?»

Что мне было отвечать? Я горько задумался. Куда деваться? Теперь и в Израиль не выпустят с фиктивным браком...

«А про финты твои, Серега, я забуду. Я сам ведь таким был в годы либеральной оттепели. И считаю это очень хорошей закалкой старинных душевных традиций. Но неужели ж совесть твоя романтическая позволила бы тебе не учуять среди подозреваемых ублюдка – растлителя и убийцу малолетних девчоночек?» «Убийца и насильник – другое, – говорю, – дело», – невольно давая таким образом согласие на сотрудничество с **ними**. «Вот за такие слова, Сергей, я лично тебе благодарен. Нисколько не сомневался в тебе. Давай отобедаем по этому случаю в приватном порядке. В кабинете. В „Арагви“. Это – наш кабачок. Только там никаких дел. Исключительно – треп о жизни. И – никаких „генералов“. Там я для тебя – Вадим. О’кей?» «Ладно, – говорю, – посидеть не мешает в хорошем ресторане, но трудно выносимы официантские миазмы...» «**Нас** обслуживают **наши** ребята. Давай ровно в два ноль-ноль. Насчет дам не беспокойся. Пускай твоя Котюля поревнует. Кстати, скотина эта карачульная последний раз стоит сегодня на почетном посту. **Мы** ему покажем, поганцу, как злоупотреблять служебным положением и вертеть по сторонам глазами на посту номер один **нашего государства**. Татаролитовожилополячишко нашелся. Враг...» «Не надо, – говорю, – **вам** ему мстить. Возмездие нужно учинять личным образом и без технологии власти...» «Это ответ настоящего мужика, Серега. Верь: я тебя даже люблю за чистый характер и персональное достоинство. Я в тебя тыкну как-нибудь парочкой настырных **наших** критиков и покажу им, что классический, понимаешь, русский человек не уничтожен, что не распался он на противоречивые и молчаливые части, но мучительно осуществляет свой выбор на рубеже времен. Если же ты заманишь часового этого в афганскую ловушку, как басмача, и оторвешь ему яйца вместе с карабином, то можешь считать дело свое закрытым. Одним словом, ровно в два ноль-ноль. Форма одежды... непринужденно-штатская. О’кей?»

Мне что-то стало так легко и весело от возможности не охотиться с органами за людьми в **их** учреждении, что я тоже хохотнул и сказал: «О’кей». В словечке этом, новом для меня, было что-то такое бессмысленно-бодрое и обязательное, не то что в нашем лениво-раздумчивом и ужасно неопределенном «ладно».

Пообедать в компашке со всесильным, отвратительно-неглупым чекистом? О’кей. Почему нет? Может, я его ненавязчиво подвигну приняться к себе самому? Может, мы еще посоревнуемся. А то, что я поработаю на них тонкостью нюха... Нечего делать вид, что выдувание сложнейших приборов для военной бактериологии ненавидимой мною советской власти – занятие безвредное для совести. В советской власти виноваты все. Даже уборщица в сортире и кассирша в универсаме. Даже отъявленные враги этой бездарной власти, одной рукой сочиняющие письма к мировой общественности, а другой режущие советскую ливерную колбасу исключительно для продолжения жизни, поддерживают в какой-то мизерной степени жизнь советской власти. Нельзя же запротестовать против, извините за выражение, ебаной советской власти трехсотмиллионным массовым самосожжением? Потому что всеобщая **смерть** и есть любимейшая и тайнозаветнейшая цель советской власти. Стоит ли приближать ее окончательную победу своими собственными руками? Нет. Нам надо жить во что бы то ни стало и несмотря на нее. Посмотрим, кто кого в конце концов – как бы мрачно ни выглядело последнее выражение – передоужит. Надо жить и хоть как-то хитромудро изги-

латься каждый день в науке – увиливать от всех бытовых, телесных и душевных пыток этой надчеловеческой проказы, пропитывающейся временем и нервом нашей жизни.

Тихое уныние человеческих существ, тянущихся и втянутых в тупое и бездумное поклонение сифилисному труп, зачавшему советскую власть как образину **смерти**, тоже есть прямое ее подобие... Возвеселись, Сергей Иванович...

Так я думал, побрившись и пополоскавшись в ванной. Швы от воды уберегал. Только побрился – снова звонок в квартиру. Я голый. «Кто?» – «Мы – курьер от **самого**». Я накинул Котин халат на свое еще не опохмелившееся тело. Открыл дверь. Там стоял безликий детина, при виде которого нельзя было не подумать о том, что он курьер. Жизнь в этом смысле бесконечно милосердна... Всем находится в ней место – уродам, курьерам, стеклодувам, генералам, бактериологам, говночистам, Горбачевым и так далее... Все это промелькнуло в трещащей башке, когда я расписался в получении необычной бандероли. Хотел сунуть курьеру полтинник. «**Мы** не берем», – сказал он и скрылся в лифте.

Разворачиваю пакет и не верю глазам своим: новенькая пластинка **«Танго прежних дней»**... Боже мой... Боже мой, шепчу, какое счастье. Словно не разбивал я ее в приступе бешеной обиды и святой ревности. Словно не переламывал на мелкие кусочки, разъярясь все сильнее оттого, что становятся они все мельче и мельче... Словно не замела их Котя во время одной ночной паузы в помойку... И ведь не Сахаров с Солженицыным прислали мне **«Танго прежних дней»**, а **они**... Хреново это, но жить-то с **ними** надо, а не с истинными героями нашего времени... Бла-а-а-годарен, господа... бла-а-а-годарен... и преисполнен частной признательности... со всеми бы **вы** так... одному – пластиночку любимую и безвозвратно, казалось бы, загубленную... другому – книжечку, «Технология власти», скажем... третьему – езжай себе в Парижи и Лондоны, погляди и снова на работу... четвертому – полежи, милая, в психушке и хватит. Извини, но мы – не звери... а кое-кому – да пропадите вы пропадом со своим сельским хозяйством. Развивайте его своими силами, а не топчите общую землю казенной стопою... Ведь ничего это **им** не стоит... сделать же **так** легче, чем уговорить собаку не следовать за сучкой в известный момент природной ее жизни... Сделать так – значит пойти с предупредительностью нежной навстречу истосковавшейся по достойному обращению природе человека... Но хрена с два, видать, пойдете вы навстречу в более широком, чем со мною, смысле, потому что природа вашей власти изначально враждебна нашей людской природе, и **вы** – лишь кусачие паразиты на жирной, кровонасыщенной кошме Соньки... вы – вши, клещи, клопы, блохи, тараканы, мокрицы, мандавошки и невидимые невооруженным глазом болезнетворные микробцы... вот **вы** кто... ебал я **ваши** танго...

Не знаю уж, что именно происходило тогда со мною, но пластинку новую занес я уже над плахою колена, чуя отвратительную неприемлемость такой вот ситуации жизни и не умея в ней как следует разобраться; занес, но в тот же миг роковое мое движение предупредил звонок Коти... «Ты в порядке?...» – «Ванну принял. Помещение продолжаю проветривать...» – «Я достаточно повымаливала у тебя прощения. Или давай разводиться, или кончай выебываться с намеками, как вша на сковороде...» «Должен сказать, – отвечаю, чувствуя, что жене я все прощу... знаю я, что вы меня любили, что вы ушли... скажите: по-о-очему?... а не прощу я никогда ничего погани-Соньке, ибо в ней, кроме крови нашей, пота и душевных сил, нету ни черта органического, – должен сказать, Котя... безумно и безусловно должен проветривать помещение до исчезновения ненавистой и чуждой мне молекулы. О'кей?» «Спасибо, Серый... если бы не эти твои слова – привила бы себе чуму... вошла бы в блошатник – и точка... но звоню я из автомата. Понял?» – «Понял. Только не думай, что звонишь ты из автомата в автомат. Ясно?» – «Все – о'кей... кто тебя научил этому словечку?... покорми, пожалуйста, моих писек... понял: кого?» – «Ладно. Покормлю». – «Что делать собираешься?» – «Деловое свидание». – «Не забудь накормить писек...»

Не ведаю уж, почему Котя называла своих блох, скрывающихся в нашем доме, «письками». Подхожу к тварям, для которых собственноручно соорудил элегантное обиталище. Модерновый, как говорится, стеклянный мавзолейчик. Наблюдаю за их копошением в кошме и думаю: как ни зловредны эти кусачки, а жрать и им охота... Полез в холодильник. Не нашел там телячьей печенки. Не свою же руку дать обглаживать блошиной своре? Отверстие для всовывания руки в мавзолейчик было ведь мною учтено по Котиной просьбе... Нечего давать с похмелья каким-то мелким врагам пить драгоценную кровь. Я бы сам сейчас, думаю, хлебнул стакашок вражеской кровушки...

В этот момент меня и осеняет тонкий замысел благородной мести, в которую можно вложить всю душу, все накопившиеся в мозгу противоречия и даже робкую мечту о протесте.

Моментально же прилаживаю горелку к газовой плите. Смотрю на часы. Вполне можно успеть. Времени хватит... Быстро выдуваю переносной садок для блох. С одной стороны прилаживаю обрезанную клизму для нагнетания воздушной струи внутри садка, а с другой – задвижку, из которой блохи вырвутся под давлением воздуха в нужную сторону. Получилось очень изящное изобретение. Клизмой же втянул я в садочек, словно в воду, множество насекомых. С голодухи были они вялыми и покорными.

Затем бреюсь, выпиваю крепчайшего чайку, облачаюсь в парадный костюм, кладу в боковой карман садок и решительно направляюсь на Красную площадь... Котю я простил, думаю, безрассудным, сердечным образом, но **ты** – сволота – получишь у меня за словленный на квартирном полу кайф...

Был день осенний, и листья грустно опадали. В последних астрах печаль хрустальная жива. Плащ я повесил на руку, чтобы он притырил садок, когда буду делать выпад.

Внешность караульной падали Котя описала мне ночью, после моих допросов, достаточно безразлично и подробно. Время заступа на пост тоже было известно.

Очередища трупопоклонников уже тянулась, ничего не понимая в происходящем, из Александровского сада к пирамиде садиста и сифилитика. Прикидываю: как бы мне удобней обернуться? Если встать в очередь, прикинувшись полиомиелитиком – так я экономил, бывало, время в магазинах – и что-нибудь к тому же мыча, то придется воленс-неволенс проследовать мимо «сухофрукта». Придется от пуза нанюхаться всесоюзной вонищи, не имеющей ничего общего с достойной народной жизнью. Может быть, придется даже сблевануть от омерзительного душка поклонения трупу номер один СССР или пасть в обморок. Народную жизнь, думаю, принял я в себя и уклоняться не намерен, какие бы ни исходили от нее запахи. Эту жизнь надо разделять, а не воротить от нее капризное чуюло. Но партийно проявленной, навечно прокопченной и смрадененько засоленной мертвечиной наполнять божественные свои легкие я не желаю. От вонищи этой и так никуда не деться. На каждом шагу и так она преследует твой глаз, твой слух, твой нюх и твою душу... Без меня, пожалуйста... Я лучше, думаю, прилажусь к постовому, когда истукански проследует он от Спасской башни к своему почетному посту. Рискну...

Группки иностранных туристов выстроились уже по пути следования ожидаемой караульной смены... Этим все равно что щелкать – слонов, эфиопских дистрофиков, голландских блядей, случку китов, Папу Римского и так далее. Им – лишь бы щелкать и хавать, не пережаривая умственно и душевно все нащелканное, а потом высирать это на простынки настенные на глазах у любопытных друзей и родственников... Щелкайте, господа, щелкайте...

Вот показалась в воротах смена. Вглядываюсь. Вглядываюсь и узнаю одного паразита среди остальных. Просто вспомнил я, ко всему прочему, что Котя именно на него гладила особенно долго во время вечерних наших посещений величественной этой площади... Вот он – болван, который... Бешенство и жажда возмездия так меня в тот миг ожесточили, что, будь в моих руках не биологическое оружие, а гондон, говном набитый, – метнул бы его, не задумываясь, в окаянного соперника... Был случай такого бомбометания в нашей

средней школе. Жертвою покушения стал зверствовавший директор школы. Покушавшихся отправили в детскую колонию...

О последствиях я тогда не думал, и вообще ничто уже не могло бы меня удержать от необыкновенной мести.

Соглядатаев и зевак удерживал на месте веревочный барьерчик. В одном месте его не было. Я встал там и, когда истуканы чеканили свой солдафонский, парадный шаг в непосредственной от меня близости, наклонился, словно споткнувшись, сжал со всей возможной силой клизму, приоткрыл задвижку и засадил заряд голодных блох в ненавистную фигуру, пахнущую на меня казарменными покаяниями и сволочной оружейной смазкой... Как могла она с ним?... как она могла?... о гнусные ритуалы бесчеловечной власти, развращающие душевное здоровье...

Все прошло благополучно, к величайшему моему удивлению. Лишь милиционер корректно попросил меня соблюдать положенную дистанцию...

Бамкнули куранты. Караул сменился. Отстоявшие на посту проследовали на отлежку, хотя мелькнуло у меня подозрение, что после службы истуканы эти возвращаются на площадь и волокут куда-нибудь на случку замороженных ранее куриц...

Смешиваюсь с толпой праздных гуляк и туристов неподалеку от входа в персональный морг. Глаз не отрываю от тупой, чуть ли не до кости выбритой рожи совратителя. Как это, думаю, ухитряется он разглядывать стоящих в толпе и млеющих от синих штыков дамочек?... Очень ловко надпочился, подлец. Стараюсь не прозевать момент, когда изголодавшиеся насекомые подберутся наконец к мертвенно застывшей караульной плоти... Когда перескочат они застежки, петельки, обшлага, резинку и обожгут мерзавца жадными прикосновениями ядовитых клещиков... Ну, Игорек сучий?... Каково тебе, будущая гэбэшная образина и кремлевская шестерня?... Не чешется еще?... Видишь ли ты меня развитым боковым зрением?... Он не шелохнется. Может, думаю, блохи мимо скакнули? Нет, напор был строго направленным, и всадил я его прямой, можно сказать, наводкой под шинельную полу этой пакости. Жду, но ничто не дрогнет ни в физии его, ни в фигуре... Может, блохи всю кусательность свою развратили на телячьей печенке и прочей изысканной пище? Или прыгучесть утратили? Что с ними? На афганцах же живого, бывало, места не оставляли... Но вот – сквозь некоторый грим, наложенный на тупое лицо для пушей площадной театральности, смотрю, проклевывается пятнами румянец. Началась реакция мучительного сдерживания неудержимого порыва чесануть укушенное место в истуканском теле подлеца. Началось-таки! Попробуй – почешись! Попробуй – распоясайся, отставь карабин в сторону и сунь руку в мотню, чтобы изловить жгучих, скачущих, неистовствующих «надежд афганщины» на пузе и в промежностях... Переступи хотя бы с ноги на ногу... Плюнь на священные статьи «Устава караульной службы»... Вот – капля пота упала с истуканского носа на подбородок... Вот – глазами он наконец заморгал. Глаза слезами налились, что-то дает ими понять напротив стоящему товарищу. Того, чувствую, начинает распирать от хохота... желваки ходят на скулах и, в свою очередь, покраснело лицо. Держитесь, думаю, комсомольцы. Держитесь, почетные комсомольцы. Держитесь, почетные рыцари ленинского караула. Пусть осеняет вас в эти минуты священное знамя Павлика Морозова, Николая Островского, Феликса Дзержинского, Надежды Крупской и прочих настоящих людей с железной волей и каменным сердцем... И вдруг солдафонская физия совратителя поддается вполне детской, растерянной гримасой – очевидно, от особой жгучей серии укусов, – открывается рот, чтобы хватануть украдкой воздуха, а с телом происходит что-то до того странное, что я перепугался. Тело его, не имеющее возможности почесаться и броситься как-нибудь иначе себе на помощь, но изнуряемое страстной внутренней энергией сразиться с полчищем мучителей, начинает незаметно для пристального взгляда пульсировать. Оно то сожмется, так что безупречная шинель слегка повисает на плечах, то, наоборот, разбухает, лицо карауль-

ного от этого отекает, а плечи поднимаются и кончик синего штыка дрожит, как истеричная стрелка на, так сказать, терпениескопе. Внутренне, чую я, из себя выходит мой соперничек, но для блох внутреннее это сопротивление кусаемого ими организма все равно, что для советской власти многолетний, терпеливый, но совершенно бездейственный протест измученного партийными паразитами и привыкшего к непроходящей чесотке народного тела... Внутренне чешись сколько угодно, но руку поднять, но ножкой дрыгнуть, но вывернуться в некое умопомрачительное сальто с поимкой вечно назойливого насекомого и мстительным взятием его под карающий ноготь – ни-ни. Внешняя ваша штукатурка должна быть без единой трещинки и овеейна стоической невозмутимостью, братцы-кролики...

То ли показалось мне, но вдруг фуражку на голове этой терзаемой укусами сволочи как-то слегка переместило с боку на бок, затем приподняло козырьком вверх бушующей волною внутренней борьбы с внешним бедствием.

Вот, думаю, допустил бы ты сейчас искреннее движение и свободный порыв рук к ключицам или хотя бы почесал мыском левого сапога под правой коленкой – там нежнейшие для блохи места – и сняли бы тебя враз с поста. Сиди на казарменной коечке, чешись и пытайся увязать совращение чужой жены со жгуче-кусательным возмездием... Скотина...

Однако с течением времени напарника его перестал разбирать смех. Глазами он вопрошал: что с тобой?... что с тобой?... А кусаемый все старался из последних уже, надо полагать, сил сохранить ритуальную, остолбенелую невозмутимость. Он то краснел, то бледнел. Шинель на его груди потемнела от непрерывно падающих с носа капель пота. Какая-то дама – или из бывших шизоидных пионерок, или из загрантуристок, – проходя мимо, хотела приложить носовой платочек к запаренной физиономии часового, но он так бешено вытаращил глаза и откровенно скрежетнул зубами – не по-ло-же-но, сучка! – что дама отдернула свою заботливую руку, как от смертельно опасного черепа с костями...

Вдруг доброе мое сердце не то чтобы пресытилось зрелищем ужасно въедливой мести, но устыдилось совершаемого. В конце концов, это она его соблазнила своей профурсетской закомплексованностью и не насильно же привела за рога на квартиру. Будь я на его караульном месте, я б вообще обезумел от множества наглых и восторженных женских взглядов, инстинктивно небось хватающихся за что-нибудь живое, перед вынужденным, в большинстве случаев, низвержением в трупное подземелье.

Отмщение должно было произойти, предотвратить его, как оказалось, я был не в силах, но и меру надобно знать, Сергей Иванович. И как ни хотелось мне, чтобы державный этот, преотвратный ритуал Соньки обосран был хоть на миг поучительно-комическим каким-нибудь образом – ибо оказаться вдруг в комическом положении страшней для нее, видимо, чем подвергнуться ударам стихий, – я устыдился содеянного и побежал к Спасской башне сообщить о «странных» переживаниях часового. Сообщил. Добавил, что часовой держится героически, не ударяет в грязь лицом, не позорит пост номер один СССР, но силы его на исходе. Требуется неожиданная замена... Быстрей, говорю, товарищи, на Красную площадь, как всегда, устремлены взгляды всей планеты, в частности сотен загрантуристов...

Через некоторое время офицер со сменщиком быстро и не соблюдая парадности шага направились к Мавзолею Ленина. Я взглянул последний разок на полностью измученного чесоткой и укусами Котиного дружка и слинял от греха подальше. Но на пути к «Арагви» не выдержал и схватился за живот. Смех меня разобрал истерический. Пришлось зайти в Александровский сад, присесть и справиться со спазмами. Пришлось отдышаться. Отдышавшись, взглянул с брезгливостью печальной на толпы, ждущие своей очереди проследовать мимо трупа. Пахнуло от них от всех бескрайностью нашей сверхдержавы... Узбекские дыни... смоленская картошка... тюлений жир... бакинская нефть... ленинградское болотце... якутские алмазы... железные дороги Сибири... литовское пиво... полтавское

сальце... пензенская сивуха... о Господи Боже ты мой, думаю, хохочут ли ангелы от столь непотребной картины разложения народной жизни или удручены до полного сочувственного молчания? Продолжают ли тут мстительно веселиться наблюдательные черти или и они презрительно удалились к более достойным представлениям от бездарного, унижительного – как для чертей, так и для ангелов – тупого зрелища?... Неужели, думаю, советский человек, никогда ты уже не зачешешься двумя пятернями и пальцами ног, очумев от искусанности?...

Заявляюсь в «Арагви». У дверей – очередища. Плебейская харя швейцара самодежавно властвует над ней с привычной безнаказанностью. Подхожу и шепчу ему угрожающе на ухо: «Третий кабинет. К Вадиму». – **«Сссню, пожалуйста, минутку... прошу-с...»** «Опять „свои“?» – забазлали в очередище. «Свои. Им положено», – пресек швейцар ничтожный бунт.

Плащ я не сдал. «Они к Вадиму», – с неким ужасом сообщил второй швейцар более крупной сошке в засаленном фраке. Тот передал меня с рук на руки холеному метрдетелю, похожему на какого-то нашего знаменитого скрипача. А уж метр подвел меня к двери кабинета. Постучал. «Валяй, валяй, – крикнул генерал, – тут... ха-ха-ха... можно без стука». Я вошел в кабинет. Генерал – он был в штатском – сразу представил меня двум весьма скромным внешне дамочкам. Одна была Василисой, другая Ефросиньей. Я почему-то пропадаю от неожиданного смущения и, естественно, вынужден был дерзко самоутвердиться. Вы вовсе, говорю, усаживаясь за стол, не Вася и не Фрося. «Цирк. Что я говорил?» – воскликнул с восторгом генерал. От дамочек соблазнительно потягивало веселой готовностью блядануть, презрев время и пространство, а также **учреждением**. «Ну кто мы?... Кто мы?...» Я присмотрелся поглубже и ответил, что, скорей всего, одна из них Галя, а другая, с родинкой на щеке которая, Нина. «Колоссально... Своего теперь имеем, товарищи, Мессинга... ха-ха-ха. Только прошу не истязать Серегу всеми этими фокусами. Обед есть обед», – сказал генерал. Дамочки вторично подали мне руки в знак действительного знакомства. Генерал, как я сразу понял по душку общего их настроения, шпарил обеих, но сел я рядом с Ниной. В лице ее была какая-то дурацкая простота и полное наплевательство на науку, то есть черты характера, которых не хватало, на мой взгляд, Коте. Плащ повесил на спинку своего стула.

Внесли закуски и выпивон. Глаза у меня разбежались. В настроении моем преобладали в тот момент жажда опохмелиться, печальная удовлетворенность мужской мстостью и некоторое самодовольство оттого, что Котя была поставлена мною на место. Несмотря на бурное ночное примирение, чувствовал я также впервые в жизни легкомысленное волнение от тонких духов и телодвижений чужой женщины, интимно повязавшей на шею мою салфетку и премило разнообразившей пустую тарелку лобио, сациви, травками, горячим сырком сулугуни и лиловой капусткой...

Жахнули сначала шампанского, потом коньячку. Ах, каким, господа, славным и легким кажется иногда существование за ресторанным столиком и как пронизывает все ваше тело игривыми «минеральными» иголочками и пузырьками чудесная, всеосвобождающая безответственность, как обалдеваете вы внезапно от предчувствия жарящегося уже для вас шашлыка, и предчувствие это столь просто путается в тот луковый миг с предвосхищением новой жизни, иного оборота дел и приятных сюрпризов судьбы, что со стороны вы, очевидно, кажетесь счастливым щенком, играющим с собственным хвостом и повизгивающим от предельного удовольствия...

Всех застольных разговоров не упомянуть. Были шуточки, анекдотики и неожиданные, хотя весьма свойственные нашим застольям, взлеты к тайнам жизни и падения до актуальных газетных темаций... Был многозначительный и идиотский чувственный хохотунчик... В какой-то момент я удивился, что нас осталось всего трое. Галя отсутствовала, а генерал сидел, уставясь очарованным взглядом в синюю картину Куинджи «Лунная ночь», которая как бы отбрасывала на его лицо мистический свет глубокого духовного любопытства... Вне

службы, подумалось мне, даже в генералах открывается нечто такое, не имеющее никакого абсолютно отношения к фигурированию в **органах** и в машине власти...

Но вдруг Галя неловко вылезла из-под стола, а Нина, наоборот, забралась мне на колени, больно и жестко, словно раздражительная матушка мальчику, вытерла рот салфеткой и впилась в мои губы. У меня дух захватило от сладости и безоглядной похоти, а полная моя неопытность в таких делах не помешала, однако, снять каким-то образом с Нины кружевные трусики. В тот же миг что-то треснуло подо мною, но я не обратил внимания на странный звук и, конечно же, не разобрал в нем ничего рокового... «Потом, Серый, потом...» – шептала мне Нина... «Прикажете – шашлычки?» – громко спросили за дверью. «Валяй», – приказал генерал. Нина слезла с моих коленок, аккуратно положила трусики в ридикюль-чик, просто сладостно сразив меня свойски-хулиганским взглядом, обещавшим черт знает что в ближайшие же двадцать минут.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.